

Б И Б Л И О Т Е К А
Ж У Р Н А Л А
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

М А Р К С
И
Э Н Г Е Л Ь С
О
ЛИТЕРАТУРЕ



ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

1 . 9 3 . 3

**Ближайшие выпуски
Библиотеки
«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»:**

**Г. В. ПЛЕХАНОВ —
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
Новые материалы**

**НЕСОБРАННЫЕ ПИСЬМА
М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА**

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КРУГИ 70-х г.г.**

**МАРКС
И
ЭНГЕЛЬС
О
ЛИТЕРАТУРЕ**



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО»

МАТЕРИАЛЫ и ДОКУМЕНТЫ



**КЛАССИКИ МАРКСИЗМА О ЛИТЕРАТУРЕ
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО»

МАРКС и ЭНГЕЛЬС о ЛИТЕРАТУРЕ

Н О В Ы Е
М А Т Е Р И А Л Ы

Комментарии

Ф. ШИЛЛЕРА и Г. ЛУКАЧА

Редактор издания
И. Ипполит
Технический редактор
Г. Белинский
Художник
И. Рерберг

«Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, — писал Ленин, — только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Эта мысль Ленина является основополагающей в отношении к культурному наследию старого мира: пролетариат не только не отказывается от него, но именно он оказывается единственным законным преемником классической культуры. Этими словами редакция открыла первую книгу «Литературного Наследства», и истекший год полностью подтвердил их справедливость. Интерес и внимание, возбужденные такой казалось бы академической, сухой материей, как литературное наследство, доказывают, что культурная революция в нашей стране идет семимильными шагами. Мы можем сделать вывод: проблемы культурного наследства весьма актуальны и для сегодняшнего дня — начала второй пятилетки — поэтому их надо ставить дальше, шире, глубже.

Признание, которое вызвали первые томы «Литературного Наследства» у читателей и критики, заставили редакцию расширить рамки своей деятельности. Ряд публикаций, напечатанных в «Литературном Наследстве», — уже сейчас можно с уверенностью сказать — прочно вошли не только в ученый, но и в учебный оборот. Спрос на журнал превысил предложение, и например первые три книги полностью исчезли с рынка. Очевидно надо как-то сделать «Литературное Наследство» более доступным широким читательским слоям. Поэтому редакция сочла целесообразным, в первую очередь выделить и тематически объединить наиболее важные публикации, интерес и значение которых выходят за рамки узкого круга специалистов. Кроме того нами разыскан ряд ценнейших историко-литературных памятников, которые по многим причинам логичнее выпускать отдельными изданиями, чем проводить через журнал. Так редакция была вплотную подведена к идее создания библиотеки «Литературного Наследства».

Сказанным определяется и характер, и аудитория, и назначение библиотеки. Она должна найти дорогу на книжную полку не только литературо-

веда и историка литературы, не только писателя, но и передового пролетария, коммуниста и комсомольца, интересующегося проблемами искусства и литературы, комвузовца, рабфаковца и студента, изучающих среди других предметов и литературу, преподавателя, который сможет использовать книжку как учебное пособие, и наконец всех друзей литературы, которых так много среди советской интеллигенции.

Тип издания повторяет те же принципы, которые были положены в основу «Литературного Наследства». Фундамент публикации составляет первоисточник — оригинальный текст, как правило, доселе вовсе неизвестный или мало известный. Он сопровождается статьей, дающей политическую и научную оценку данного материала. Научный аппарат, чтобы не утяжелять издания, сведен к минимуму.

Отвечающая бесспорным запросам советской общественности, правильно поставленная политически и научно, культурно оформленная — такая библиотека «Литературного Наследства» имеет все права на существование.

Первое слово в этой серии редакция предоставляет классикам марксизма: Марксу и Энгельсу. Нет нужды доказывать необходимость их изучения. Особенно теперь, в момент литературных споров, когда вопросы литературы и искусства перестали быть достоянием узкого кружка мнящих себя «специалистами», следует внимательно вдумываться в те высказывания, которые нам оставили по этим вопросам основоположники научного социализма.

В частности, печатаемые ниже письма, будучи собранными вместе (впервые они были опубликованы в №№ 1, 2, 3 и 7-8 «Литературного Наследства»), приобретают особое политическое значение. Так, по отзыву «Правды» (в номере от 22/XII 1932 г.), «письма Маркса и Энгельса, опубликованные в первых трех номерах «Литературного Наследства», имеют громадное значение для развития нашей литературы: в них изложены мысли, которые могут разрешить многие вопросы, связанные с выработкой творческих путей советской литературы». Не говоря уже о том, что публикуемые письма значительно увеличивают доселе известную литературоведческую часть наследия Маркса и Энгельса, они замечательны еще потому, что наголову разбивают мелькавшее кое у каких товарищей утверждение, что Маркс, Энгельс и Ленин почти ничего не оставили нам по вопросам искусства, будто здесь у них учиться нечему. Так, всего десять лет назад покойный Фриче вслед за Л. Аксельрод писал: «Энгельс вопросами искусства вообще не занимался». Насколько необоснованной является такая недооценка роли, сыгранной основателями марксизма-ленинизма для развития литературной науки, лучше всего показывают собранные в этой книге письма.

**МАРКС и ЭНГЕЛЬС
о ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ
«ФРАНЦ ФОН ЗИКИНГЕН»**

**Переписка
Маркса и Энгельса
с Лассалем**

**Предисловие
РЕДАКЦИИ
«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»**

**Комментарии
Георга ЛУКАЧА**

Переписка Маркса и Энгельса с Лассалем по поводу его трагедии «Франц фон Зикинген» стала известна еще в начале 90-х годов прошлого века, когда Э. Бернштейн впервые воспользовался оставшимися у Энгельса письмами Лассалья к Марксу и Энгельсу и напечатал в «Neue Zeit» и в изданных им сочинениях Лассалья письмо последнего (от 6 марта 1859 г.) об идее трагического в «Зикингене»¹. Затем письма Лассалья к основоположникам научного социализма были напечатаны Мерингом в четвертом томе «Literarischer Nachlass», переведенном и на русский язык². Но до конца мировой войны письма как Маркса, так и Энгельса оставались неопубликованными и не было известно во всем объеме их отрицательное отношение к эстетическим и политическим взглядам Лассалья в трагедии «Зикинген»; об их критике этих установок можно было судить только по цитатам и полемике, содержащимся в письмах Лассалья. И лишь после окончания войны Густаву Майеру удалось найти письма Маркса и Энгельса к Лассалю. Полностью переписка Маркса и Энгельса с Лассалем была опубликована как III том шеститомного издания литературного наследства Лассалья в 1922 г.³ Отрывки из новонайденной переписки Маркса и Энгельса и оба письма по поводу «Зикингена» были переведены на русский язык и напечатаны в 1922 г. в журнале «Под знаменем марксизма». Таким образом вся переписка по поводу трагедии Лассалья для русского читателя была разбросана и настолько плохо переведена (особенно ранние русские переводы), что в ее тексте местами был совершенно искажен смысл. В настоящей публикации 1) впервые воедино собраны все письма как Лассалья, так и Маркса и Энгельса, имеющие отношение к трагедии, 2) русский перевод в основном сделан заново и отредактирован И. Б. Румером, 3) печатается специальная работа Георга Лукача, посвященная этим материалам.

Собрав всю переписку Маркса и Энгельса с Лассалем вокруг полемики об этой драме, мы имеем возможность оценить ее огромное теоретическое и по-

литическое значение. Эта переписка имеет исключительное значение для решения ряда важнейших вопросов марксистско-ленинского литературоведения.

Ответные письма Маркса и Энгельса являются одним из лучших документов, оставленных нам основоположниками марксизма как наглядный пример сугубо политического, партийного подхода к вопросам литературы и эстетики; они являются одним из лучших образцов конкретного анализа художественного произведения и показывают, как Маркс и Энгельс в своих эстетических суждениях, в решении таких вопросов, как мировоззрение и писатель, взаимоотношение единичного и всеобщего, индивида и класса и т. д., не отрывают этих вопросов от конкретной политической практики класса, от исторического развития классовой борьбы, а наоборот теснейшим образом связывают решение этих вопросов именно с мировоззрением автора (Лассалья) как представителя определенного класса и определенной исторической ситуации. Они убедительнейшим образом показывают, как абстрактно морализующий, субъективистский метод творчества Лассалья в «Зикингене» неразрывно связан с его идеалистическим, буржуазно-революционным, а не пролетарским мировоззрением, и они же показывают, как должен был бы писать, каким творческим методом художественно оформить трагедию революции идеолог пролетарской партии.

Маркс и Энгельс в этих письмах ставят вопрос о политических союзниках руководящей революционной партии, об отношении индивида, «героя», к классу и разоблачают идеалистичность и действительный классовый смысл цезаристской исторической концепции «героя» в «Зикингене», который якобы может распоряжаться общественными классами.

Насколько Маркс и Энгельс были правы в своей критике, показывает вся деятельность Лассалья как организатора и руководителя немецкого рабочего движения 60-х годов, его бонапартистские стремления стать «Ришелье пролетариата» (Маркс), его союз с Бисмарком и предательство рабочего класса, как это особенно ясно подтвердилось после опубликования его переписки с Бисмарком⁴.

Лассальянство уже в течение долгого времени является знаменем оппортунизма, ревизионизма, ренегатства, всяческих извращений марксизма. Лозунг «назад к Лассалю» выбрасывается, начиная от русских струвистов и кончая современными социал-фашистами, опирающимися в своей «реальной политике», в тактике «меньшего зла» и защиты капиталистического общества на «старую, испытанную» тактику и родоначальника оппортунизма — Лассалья. В области литературы и эстетики, в которой Лассаль всегда оставался до

конца идеалистом, оппортунисты и ревизионисты марксизма также опирались, где только могли, на мнение Лассалья. И поэтому-то переписка вокруг «Зикингена» приобретает такое чрезвычайно важное значение для характеристики отношений Маркса и Энгельса к Лассалю. Этим объясняется то обстоятельство, что эта полемика, несмотря на сравнительно позднее издание писем Маркса и Энгельса, уже имеет свою богатую литературу. Нет кажется ни одной биографии или другой работы о Лассале как марксистских, так и буржуазных авторов, в которой не было бы посвящено ей главы или хотя бы нескольких страниц. Интересен например отзыв известного буржуазного биографа Лассалья Германа Онкена, который писал о ней в 1923 г.: «Так, в трагедии «Зикинген» общественное движение реформации и нашего времени отступает на задний план перед единой, духовно свободной и избавившейся от князей Германией. Такое же точно развитие действия, как у Лассалья, мог бы сочинить и буржуазный демократ, а не ученик Маркса. Эту разницу учитель остро почувствовал»⁵. Особенно много занимался этой полемикой Э. Бернштейн, и притом весьма характерно, что в связи с его политической эволюцией менялась и его оценка «Зикингена». Именно Бернштейн первый опубликовал большое письмо Лассалья от 6 марта 1859 г. об идее трагического. Живя в Лондоне после закрытия заграничного органа германской с.-д. партии «Социал-Демократ», Бернштейн занялся по поручению партийного издательства подготовкой собрания сочинений Лассалья с биографическим очерком его жизни. Бернштейн тогда находился под непосредственным идейным руководством Энгельса и весьма резко относился к Лассалю и лассальянству. Энгельс же и предоставил Бернштейну бывшие в его распоряжении письма к Карлу Марксу, среди которых находилось и вышеназванное. В своем биографическом очерке он критикует точку зрения Лассалья в «Зикингене» и его эстетические взгляды почти дословно, как в письмах Маркса и Энгельса. Это совпадение объясняется очевидно тем, что Энгельс изложил Бернштейну свою точку зрения на эту драму. Любопытно, что Бернштейн попутно упрекает Лассалья в выпячивании тенденции (поверхностной) и в чрезмерном «рефлексировании»; все это доказывает, что эта критика была написана под влиянием Энгельса. Но совершенно иначе Бернштейн оценивает трагедию «Зикинген» и его автора в 1919 г., когда он после войны выпустил новое издание сочинений Лассалья. Бернштейн вскоре после смерти Энгельса сделался вождем ревизионизма, и — увы — теперь он уже не критиковал, а опирался на Лассалья. Ренегат и социал-фашист Бернштейн в 1919 г. в предисловии к первому тому сочинений Лассалья пишет о «Зикингене»: «Франц фон Зикинген»

разрабатывает исторический конфликт XVI в., который в иной форме вновь оживает в XIX и который XX век пытается разрешить опять-таки иным способом: это — борьба за единство Германии, против притязаний различных светских и духовных властителей. Лассаль превозносит Зикингена и его друга и советника Гуттена как героев этой борьбы, окончившейся поражением благодаря тактическим ошибкам (!) Зикингена»⁶. Возвращаясь к своей точке зрения в биографическом очерке к изданию 1892—1893 гг., Бернштейн продолжает:

«Лассаль по мнению процитированной нами во введении биографии впадает в заблуждение, игнорируя причинную связь между вышеуказанными ошибками Зикингена и тем обстоятельством, что Зикинген и Гуттен являлись представителями обреченного класса и поэтому были вынуждены своего рода необходимостью к такой политике, которая исключала возможность победы. Но если взять драму такой, как она есть, то оказывается, что Лассаль, преподнося своим мечтавшим о единой неделимой Германии современникам картину прежней неудачной борьбы за этот идеал, хотел предостеречь их от политических ошибок, повлекших за собой поражение Зикингена. Сущность этих ошибок он излагает в примечательной статье о трагическом замысле «Франца фон Зикингена», столь заслуживающей особого внимания в наше время, когда самое понятие о вине в политических актах сильно пошатнулось»⁷.

Таким образом драма Лассаля теперь должна была служить ширмой для патриотических, «отечественных» забот социал-предателя Бернштейна.

Не мало писал о «Зикингене» и Франц Меринг в своей «Истории германской социал-демократии», в биографии Маркса и ряде других своих работ. Но и Меринг, несмотря на то, что он был одним из вождей германской «левой», до конца жизни не освободился от полуменьшевистских взглядов, в частности и по вопросам литературы и искусства. В трактовке взаимоотношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем он всегда оправдывал тактику Лассаля в раннем рабочем движении, противопоставляя ее тактике Маркса и Энгельса. И в области эстетики Меринг опирался в гораздо большей степени на идеалиста Лассаля, нежели на Маркса и Энгельса. Его защита эстетических взглядов Лассаля, переоценка классического литературного наследства (в особенности Шиллера), недооценка пролетарской литературы и ряд неправильных положений в теории искусства, сближающих его в этих вопросах отчасти с Каутским, Троцким и другими центристами довоенного II Интернационала, восходят в значительной степени к эстетике Лассаля.

Лассальянство, как оно было выработано и оформлено в теории и практике самого Лассалья и его наиболее талантливого последователя И. Б. Швейцера, всегда и притом уже очень рано получало самый резкий отпор со стороны В. И. Ленина»; в ряде статей он вскрывает оппортунизм этого течения в рабочем движении и разоблачает тех идеологов II Интернационала, которые или открыто проповедывали возврат к Лассалю, или покровительствовали лассальянству, вычеркивая например резкие отзывы Маркса и Энгельса о Лассале при издании их литературного наследства, и т. п. Помимо Бернштейна по этому вопросу в работах Ленина особенно резко критикуется и Меринг.

Полемiku Маркса и Энгельса с Лассалем о «Зикингене» В. И. Ленин использовал в 1911 г. в вопросе о «левоблокизме». В статье «Принципиальные вопросы избирательной кампании»⁸, выступая против меньшевиков Ю. Чацкого, Л. Мартова и Ф. Дана, он пишет: «Именно «левоблокистская тактика», именно союз городского «плебса» (современного пролетариата) с демократическим крестьянством придавал размах и силу английской революции XVII, французской XVIII века. Об этом Маркс и Энгельс говорили много раз не только в 1848 году, но и гораздо позже. Чтобы не приводить много раз уже приводившихся цитат, напомним переписку Маркса и Лассалья в 1859 году. По поводу трагедии Лассалья «Зикинген» Маркс писал, что коллизия, проведенная в драме, «не только трагична, но она есть именно та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848 и 1849 годов». И Маркс, уже намечая в общих чертах всю линию будущих разногласий лассальянцев и эйзенахцев, упрекал Лассалья, что он впадает в ошибку «тем, что ставит лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской. Нас не касается здесь вопрос о том, правилен или неправилен упрек Маркса: мы думаем, что правилен, хотя Лассаль энергично защищался от этого упрека. Важно то, что ставить «лютеровско-рыцарскую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетарско-крестьянской в таком же переводе) и Маркс, и Лассаль считали явной ошибкой, считали абсолютно недопустимым для социал-демократа!»

В. И. Ленин тогда не знал полной переписки между Марксом-Энгельсом и Лассалем по поводу «Зикингена» и был знаком с точкой зрения Маркса лишь по цитатам в письме Лассалья; В. И. Ленин не знал также всех подробностей отношений Лассалья к Бисмарку, но он и по имевшимся тогда данным сделал все выводы и гениальным образом применил анализ, данный

Марксом и Энгельсом в 1848, 1849 и 1859 гг. для революционной ситуации и соотношения классовых сил прежних революций, углубив его в применении к обстановке 1905 и 1917 гг., т. е. уже к эпохе империализма и пролетарской революции.

Полемика Маркса и Энгельса с Лассалем и применение ее В. И. Лениным — блестящая страница из истории борьбы воинствующего марксизма-ленинизма с оппортунизмом и идеализмом в рядах рабочего движения. Марксистско-ленинское литературоведение на этом примере конкретной критики и сугубо партийного подхода основоположников научного социализма должно учиться непримиримой борьбе с противниками пролетарского литературного движения.

Редакция

ПРИМЕЧАНИЯ

Все письма Маркса и Энгельса, а также и письма к ним, печатающиеся в этой книжке, публикуются по фотокопиям, хранящимся в Институте Маркса-Энгельса-Ленина. Строки, зачеркнутые в некоторых письмах Энгельса, поставлены нами в квадратные скобки. — Конец письма Энгельса к Лассалю от 18 мая 1859 г. не найден.

¹ Ferd. Lassalle's Reden und Schriften. Neue Gesamtausgabe mit einer biographischen Einleitung. Hrsg. von Ed. Bernstein. Bd. I — III. Berlin. «Vorwärts» 1892 — 1893 (письмо напечатано в I томе, стр. 32 — 41).

² Письма Ферд. Лассалю к К. Марксу и Ф. Энгельсу. С примечаниями Ф. Меринга. Изд. 2-е. СПб., «Литерат. Дело» 1907.

³ Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. Hrsg. von G. Mayer, Stuttgart, 1922. Существует русский перевод первой части этой переписки (до 1859 г. вкл.) в заграничном меньшевистском издании (Ф. Лассаль, Переписка между Лассалем и Марксом. Изд. Г. Майера, перев. с нем. Ф. И. Дана. Берлин, 1923).

⁴ Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle. Gespräche und Briefe. Berlin-Dietz, 1928; в русском переводе переписка Лассалю с Бисмарком напечатана в «Летописях марксизма» 1928 г., № 6.

⁵ H. Oncken, Lassalle. Eine politische Biographie. 4. Aufl. Stuttgart — Berlin, 1923, S. 153.

⁶ Ferd. Lassalle, Gesammelte Reden u. Schriften. Hrsg. u. eingeleitet von Ed. Bernstein. Bd. I — XII, Berlin, Cassirer, 1919.

⁷ Там же, т. I, стр. 9 — 10.

⁸ Ленин, Сочинения, 2-е изд., т. XV, стр. 347.

[Берлин, 6 марта 1859 г.]

Дорогой Маркс!

В тот самый день, когда я получил твое письмо относительно Энгельса, я тотчас ответил тебе, уведомляя тебя, что дело мной улажено, и сообщая адрес, по которому ты или он должны послать рукопись. Ничего нового я по этому поводу пока не слышал. Надеюсь, что рукопись придет на этих днях, потому что в таких делах время не терпит.

Прилагаю при сем три экземпляра моего последнего произведения — для тебя, Фрейлиграта и Энгельса. Двум последним будь так добр доставить их экземпляры как можно скорее.

Какое изумление изобразится на твоём лице, когда ты увидишь драму, сочиненную мною! Почти такое же, какое испытал я сам, когда напал на мысль написать ее, или, вернее, когда эта мысль напала на меня! Ибо все это возникло у меня не как продукт свободного творчества, которым решаешь заняться, но как некое принуждение, которое нашло на меня и от которого я никак не мог отделаться. Я, который даже в юные годы не написал ни одного лирического стихотворения, я — поэт! Как безумно я смеялся над самим собой, когда мной впервые овладела эта мысль! Но кто может идти против своей судьбы! — Постараюсь же объяснить тебе, как эта судьба меня постигла.

Это было в то время, когда я с напряжением всех сил заканчивал своего Гераклита. Ты вероятно увидел из него, что у меня есть некоторая способность, а следовательно и склонность к умозрительному мышлению. И тем не менее я бесконечно страдал, работая над этим сочинением. Пропасть, отделяющая эти научные, бесцветно теоретические интересы от всего, что сегодня практически волнует нашу кровь, или, правильнее выражаясь, та лишь косвенная и отдаленная связь, которая все же имеется в последнем счете между обеими этими областями, вот что было причиной моего страдания, и могу тебя уверить, что оно было огромно. О, как часто, когда какая-нибудь ассоциация идей уносила меня из того мира мыслей, в который я должен был насильственно втиснуть себя, к нашим жгу-

чим современным интересам, к великим вопросам дня, которые хоть и казались внешне затихшими, но в моей груди продолжали кипеть с прежним жаром, — как часто вскакивал я тогда из-за письменного стола и бросал прочь перо! Точно вся кровь застыла в моих жилах, и лишь после получасовой или еще более длительной борьбы с самим собой ко мне возвращалось самообладание, я мог заставить себя вновь сесть в кресло и вновь отдаться во власть железной концентрации мыслей, которых требовал мой труд. Очень тяжело после 48 и 49 гг., после того как уже пролито столько крови и столько дел вопиет о мести, все еще быть вынужденным заниматься теорией (я исключаю только политико-экономические сочинения, потому что они являются вместе с тем и практическими действиями), — особенно когда видишь, как никакое теоретизирование не приносит непосредственной пользы, как люди продолжают себе спокойно жить, словно лучшие и величайшие творения и мысли никогда не были написаны и высказаны! И в такое-то время заниматься умозрительными рассуждениями о греческой древности — я при всем желании не мог бы тебе описать, каких усилий мне это стоило. Но я всегда буду расценивать это как одно из наилучших свидетельств железной силы воли, выданных мною самому себе. Прости, дорогой друг, это лирическое излияние. Ты знаешь, что я в общем не лирик и привык как раз сильнейшие чувства таить в себе. Но иногда бывает необходимо излиться перед другом. А ты в сущности последний друг, оставшийся у меня среди мужчин. Мендельсон умер, графиня же, как ни превосходна эта женщина и как ни дорожу я ее дружбой, все-таки женщина и не в состоянии проникнуть с вполне исчерпывающим пониманием во все тайники мужского мышления. С тобой я в сущности мало жил. Тем не менее мне всегда казалось, что в тебе я имею истинного и настоящего друга. Да ты ведь и сам знаешь, что я всегда так смотрел на тебя. У меня есть, в особенности теперь, много так называемых добрых друзей. Но для дружбы, о которой я говорю сейчас, этим другим недостает хотя бы уж необходимого умственного развития и одинаковости духовных интересов.

Но довольно, вернусь к моему рассказу. Итак, я довел Гераклита до конца, но я пожалуй не сумел бы этого сделать, ес-



КАРЛ МАРКС

С фотографии (конца 50-х годов), хранящейся в Музее Маркса-Энгельса-Ленина

ли бы не нашел спасительного средства в том, что занимался одновременно по ночам, как бы для успокоения, специальным изучением одного предмета, находившегося в тесном родстве с нашими актуально политическими интересами и т. д., но вместе с тем не настолько непосредственно актуального, чтобы поглотить меня целиком. Привыкнув с ранних лет заниматься вперемежку четырьмя-пятью науками, я изучал по ночам средние века, эпоху реформации, над которой я уже прежде много работал, в особенности произведения Гуттена и т. д. Сочинения и жизнь этого удивительного человека опьяняли меня. Однажды я, потрясенный до глубины души некоторыми его вещами, ходил взад и вперед по своей комнате. Несколько дней до того мне пришлось перелистать одну ничтожную современную драму. Так возникла во мне ассоциация идей. Я сказал себе — ибо я никогда не подумал бы при этом в первый же момент о себе самом — боже, если бы хоть кто-нибудь из этих людей, тратающих попусту свой маленький талант на такие вещи, посоветовался бы со мной относительно темы. И я подумал, как я рекомендовал бы им Гуттена, и стал далее думать о том, как бы они составили план подобной драмы, затем от Гуттена — с которым дело опять застряло бы в чистой теории — я перешел к Зикингену как к главному герою. И едва мелькнула у меня эта мысль, как тотчас же, словно по какой-то интуиции, весь план возник передо мной в готовом виде, и в то же мгновение мною овладело повелительное чувство, от которого я уже не мог отделаться: «ты это должен и выполнить». И как я ни робел перед этой задачей, она все же захватила меня. Теперь я мог упиваться чувствами возмущения и ненависти, мог дать волю их набегаящим волнам, мог наконец излить свое сердце! Так я нашел себе способ освободиться от тех удушливых притоков крови к сердцу, которые без этого пожалуй не дали бы мне довести до конца Гераклита.

Вот как возникла эта вещь. И я должен сказать, что я считаю ее в сущности прекрасной — не знаю, ослепляет ли меня субъективное чувство, но во всяком случае ты не сочтешь это откровенное заявление за тщеславие, которому оно скорее диаметрально противоположно. Но пусть бы это даже была прекраснейшая вещь в мире, — больше я не напишу ни одной дра-

мы. Эта одна была на меня возложена как бы роковым велением свыше, и больше это не повторится!

О формальной основной идее моей трагедии я написал для некоторых знакомых, менее тебя привыкших к спекулятивному мышлению, небольшую статью, предназначенную разумеется только для частного пользования, но никак не для печати. Что-бы ты не счел меня слишком педантичным и настолько глупым, что я сам выдаю своей трагедии свидетельство о бедности, точно она нуждается в особой *fabula docet* (морали), я замечу, что поводом к этому комментарию было возражение, сделанное мне одним хорошим знакомым и к тому же еще в якомы гегелевском духе; этим объясняется и форма статьи. Кроме того я воспользовался ею, как ты без труда увидишь из самого текста, чтобы заодно осветить в общих чертах мой спор с моими здешними знакомыми о политическом положении и нашем отношении к нему. Раз статья уж написана, я счел уместным прислать и тебе один экземпляр. Тебе она конечно не нужна, чтобы понять спекулятивную идею драмы. Но все же она представит для тебя тот интерес, что даст тебе возможность судить с полной уверенностью о том, что я сам хотел сказать своей драмой, в отличие от того, что в нее можно вложить со стороны, а также о том, насколько замысел и выполнение покрывают друг друга. Итак, прочти пожалуйста эту статью до или после прочтения драмы и, будь так добр, передай ее потом Фрейлиграту, для которого, при его меньшей привычке к спекулятивному мышлению, она и вообще может оказаться не лишеной интереса.

Наконец сама собой подразумевающаяся просьба — написать мне обстоятельное и вполне откровенное мнение о том, как ты находишь мою вещь. (Из предисловия ты увидишь, что она в такой форме не предназначена для постановки на сцене. Для сцены я обработал ее отдельно в очень сокращенном виде. Впрочем надежда на постановку при нынешних политических условиях равна разумеется нулю.) Итак, жду правдивого отзыва, между прочим и о том, считаешь ли ты, что она будет полезной в ожидаемом мною смысле.

Жму сердечно руку, искренний привет твоей жене, Фрейлиграту и Энгельсу.

Твой Ф. Лассаль.

[РУКОПИСЬ О ТРАГИЧЕСКОЙ ИДЕЕ,
ПРИЛОЖЕННАЯ ЛАССАЛЕМ
К ПИСЬМУ ОТ 6 МАРТА 1859 г.]

Относительно формальной трагической идеи, положенной мною в основу предлагаемой драмы и ее катастрофы, — о глубоком диалектическом противоречии, присущем природе всякого действия, в особенности революционного, — я конечно не высказался в имеющем общий характер предисловии, а в самой трагедии наметил ее отчетливее лишь в пятом акте.

Вечная сила всех господствующих классов, защищающих существующий порядок, заключается в безошибочной, проработанной сознательности, с какой они представляют себе свой классовый интерес именно как уже господствующий, проработанный.

Вечная слабость всякой правомерной революционной идеи, пытающейся осуществиться практически, заключается в недостатке сознательности со стороны членов преданных ей классов, принцип которых еще не осуществлен, а также в связанной с этим неорганизованности имеющих в ее распоряжении средств. Всегда повторяющееся при этом диалектическое противоречие состоит вкратце в следующем. Сила революции заключается в ее воодушевлении, в этом непосредственном доверии идеи к своей собственной мощи и бесконечности. Но воодушевление — как непосредственная уверенность во всемогуществе идеи — есть прежде всего абстрактное невнимание к конечным средствам действительного осуществления и к трудностям реальных осложнений. Воодушевление должно поэтому ввязаться в реальные осложнения, перейти к действию с помощью конечных средств, чтобы достигнуть своих целей в конечной действительности. Иначе в своих мечтаниях о том, чего оно желает (о цели), оно упустит из виду реальную сторону осуществления.

При таких обстоятельствах следует повидимому признать торжество высшего реалистического благоразумия революционных вождей, когда они считаются с данными конечными средствами, скрывают от других (и тем самым даже от самих себя) подлин-

ные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов, более того — посредством их использования, приобретают возможность организовать новые силы, чтобы затем с помощью этой умно завоеванной части действительности победить самое действительность.

Такое бесконечное реалистическое превосходство над Гуттенем проявляет Зикинген в третьем акте, как он и вообще постоянно сохраняет над ним, этим лишь духовным революционером, превосходство реалистического взгляда на вещи и практически-политического, государственного гения. Но в этом ввязывании воодушевления в конечное, в этом его подчинении последнему оно отнюдь не осуществляет себя, а наоборот, отказывается от своего формального принципа — бесконечности идеи, — отдает себя во власть своей противоположности, конечности, как таковой, в упразднении которой и состоит ее значение, и поэтому здесь оно должно потерпеть крах.

Действительно, хотя рассудку и трудно это признать, почти кажется, будто есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным рассудком с его расчетливостью. Большинство революций, потерпевших крушение, разбились — всякий истинный знаток истории должен с этим согласиться — об эту расчетливость, или по крайней мере крушение потерпели все революции, пытавшиеся опереться на эту расчетливость. Великая французская революция 1792 г., победившая при самых трудных обстоятельствах, победила только потому, что сумела отбросить в сторону рассудок.

В этом разгадка силы крайних партий во время революций и в этом же разгадка того, почему инстинкт масс во время революций в общем гораздо правильной, чем сознание интеллигентов. «И чего не видит разум умников, то осуществляет на деле, и т. д.». Именно недостаток образования, свойственный массам, предохраняет их от подводных камней расчетливого образа действий.

Впрочем в сказанном уже заключается действительное разрешение и внутренняя необходимость упомянутого диалектического противоречия между бесконечной целью идеи и конечным благоразумием компромисса.

Ибо 1) как уже было отмечено, интерес господствующих классов именно потому, что их принцип господствует и поэтому является вполне проработанным, сознательным, не может быть обманут. Отдельные личности могут быть обмануты, но классы — никогда!

2) В особенности же компромисс как уступка существующему неизбежно должен — и притом, как уже было упомянуто, столько же в формальном отношении, сколько именно поэтому и в отношении содержания — в большей или меньшей степени порвать со своим принципом, т. е. с тем, что составляет силу и оправдание революций, должен встать на почву принципа противника и тем самым уже теоретически признать себя побежденным, и тогда остается только привести в исполнение этот его приговор над самим собой. — Цель только тогда может быть достигнута каким-нибудь средством, — как это с мастерским глубокомыслием показал старик Гегель и отчасти знал уже до него Аристотель, — когда уже заранее само средство насквозь проникнуто собственной природой цели. Цель должна быть выполнена и осуществлена уже в самом средстве, и последнее должно быть запечатлено ее природой, чтобы она могла быть достигнута с помощью этого средства (поэтому в гегелевской логике цель достигается не через средство, а обнаруживается в самом средстве как уже выполненная. Таким образом всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революционные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами.

Или 3) говоря более реально, революции можно в конце концов делать только с помощью масс и их страстного самопожертвования. Но массы именно вследствие их так называемой «грубости», вследствие того, что они лишены образования, совсем не понимают компромиссов, они интересуются — ибо всякий неразвитой ум признает только крайности, знает лишь да и нет и никакой середины между ними — только крайним, цельным, непосредственным. Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (*Revolutionsrechner*) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устра-

няют позади себя своих единомышленников. Таким образом мнимый разум оказывается на деле высшим неразумием.

Впрочем вполне естественно, что чем больше отдельные личности обладают весом и значением в действительном мире, зоркостью взгляда, благоразумием и образованием, тем легче они впадают в ошибку этой роковой, мнящей себя реалистической рассудочности. Этим объясняется то, что например во время Французской революции (и во время английской было нечто аналогичное) абстрактные идеалисты, якобинцы, угадывали возможное и реально осуществимое в тот момент лучше, чем кичившиеся своим образованием, реалистическим взглядом на вещи и государственным умом жирондисты, которые и получили поэтому от народа — ненавидящего это государственное благоразумие — странное ругательное прозвище «государственных людей».

Это «лукавство» Зикингена там, где дело идет об идее, впрочем не наносящее ущерба его революционному величию и радикальной решимости и не превращающее его в примиренца, ибо он не изменяет ни на йоту революционным целям, по отношению к которым он идет дальше всех, и лукавит только в смысле способа их осуществления, — это лукавство и есть таким образом вина Зикингена, и конечно это — «великая ошибка», как того требует Аристотель.

Но, мог бы кто-нибудь возразить, эта «великая ошибка», как бы велика она ни была, есть все-таки лишь интеллектуальная ошибка, а не нравственная вина, и следовательно она не трагична.

На это я должен ответить т р о я к о. Прежде всего я ни в каком случае не согласился бы с тем, что диалектика глубочайшего интеллектуального, внутренне не избежного и поэтому вечного идейного конфликта не является сама по себе глубоко трагическим мотивом, как это доказывает античная трагедия, почему Аристотель вероятно и ограничился требованием «великой ошибки». Во-вторых, эта интеллектуальная вина есть уже на том основании моральная вина, что к тому, кто ставит себя настолько выше существующего порядка, что хочет его ниспровергнуть и заменить его принцип своим собственным, должно быть предъявлено требование, чтобы он и действительно был

духовно настолько выше, иначе придется сказать, что он «зазнался» (в античном смысле слова).

Наконец, в-третьих, несомненно, что эта интеллектуальная вина носит по преимуществу и нравственный характер, ибо она проистекает как раз из недостатка доверия к нравственной идее и к ее самой в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам. В ней заключается таким образом недостаток непосредственной уверенности и убежденности в идеальном, далее недостаток безграничной полной откровенности, а следовательно, так как и то и другое необходимо для революционной точки зрения, и уклонение от своего принципа, частичная надломленность.

В религиозных войнах это явление большей частью не наблюдается, непосредственная мечтательная убежденность во всемогуществе божественного исключает здесь его возможность.

(В том и состоит историческое величие и решающая сила Лютера, что в тех пунктах, которых он действительно хотел достигнуть во что бы то ни стало, он не знал этого благоразумия, не делал никаких уступок, не входил в компромиссы с господствующими силами и не считался с «возможным», но — я говорю об его первом периоде — обращался непосредственно к простому человеку.) Отсюда та нередко чудесная победительная сила, с какой эти фанатики так часто осуществляют невозможное, почти непостижимое. Отсюда также драматически захватывающая сила этих вдохновенных фанатиков. В их односторонности заключается сила их действия, потому что всякое деяние односторонне.

Таким образом названная вина Зикингена является именно нравственной виной по преимуществу, но виной, которая, если можно так выразиться, смягчена тем, что она интеллектуальна, и именно потому, что она интеллектуальна; что она основывается на идейном конфликте, постоянно повторяющемся во все переломные эпохи, она перестает быть виной частного случайного лица и в свою очередь становится необходимой вечной точкой зрения, неоспоримая относительная правота которой и глубочайшая внутренняя неправда влекут за собой ее трагическую судьбу, ее диалектическую гибель. *Mutato nomine de nobis fabula narratur* (под

другими именами речь идет о нас самих), и так это будет вечно. Именно такого рода виновность, в о д н о и т о ж е в р е м я нравственная и интеллектуальная и как раз поэтому-то основанная на вечном и необходимом объективном идейном конфликте, и составляет, как мне кажется, г л у б о ч а й ш и й трагический конфликт.

Или, чтобы выразить теперь мой взгляд со всей определенностью и четкостью, всякая действительно нравственная вина только интеллектуальна, и лишь та вина является нравственной, которая интеллектуальна. Ибо нравственная вина в отличие от моральной, которая связана исключительно с отдельным субъектом и его внутренним миром, заключается не в чем ином, как именно в практике и реализации объективной и относительно правомерной мысли и мысленной позиции, которая однако не умеет справиться со своей диалектической противоположностью, вследствие этого нарушает созвучие как в мире идей, так и в реальном мире и поэтому в теории является односторонней, а на практике — виновной.

Впрочем Зикинген снимает с себя в пятом акте как интеллектуальную, так и нравственную вину тем, что осознает ее и переходит к и с к у п л я ю щ е м у действию. Отбросив в сторону свои дипломатические сомнения и лукавства, он ставит на острие меча свою судьбу и судьбу страны. — Но теперь уже поздно, и так оно должно быть согласно трагической идее. Оскорбленные боги мстят за себя, и, к несчастью, диалектика оскорбленных идей разума мстит за себя еще более жестоко и неумолимо, чем любой из греческих богов. Жизнь и история — жестокая практика логики, и какая жестокая!

В том, что Зикинген вынужден теперь силой обстоятельств сделать неправильный шаг: подвергнуть себя и заодно страну (как уже при осаде его замка, так и при вылазке) чистой случайности, в которой страна и его принципиальные приверженцы в ней вовсе не стоят за ним, так что подлинная сила обеих сторон здесь вовсе не обнаруживается и не является решающим моментом; в том, что этот великий дипломат и реалист, желающий тщательно вычислить все заранее и совершенно исключить всякую случайность, как раз поэтому-то и вынужден в конце концов предоставить все чистейшей случайности, — в

этом заключается настоящая и самая жестокая диалектическая кара, выпавшая на его долю. Вместо того чтобы открыто апеллировать к принципам и развязать их революционную силу, он в трирском походе поставил историческую идею и национальное дело на почву предприятия, у которого старательно отнял его общее значение и которое облек в видимость случайности. И поэтому, как он ни хотел предусмотрительнейшим образом исключить всякую случайность, он сам призвал на помощь случай, и так как его расчет на обман с помощью видимости случайного и несущественного должен разбиться о сознательный характер существующего порядка, то он вынужден принять решение своей судьбы не из рук подготовленной случайности, как ему того хотелось, а скорей из рук подлинного, неподготовленного случая. Поэтому он и гибнет не вследствие превосходства старого, — что не было бы действительно трагической гибелью, ибо неизбежное падение старого, впрочем далеко еще не равносильное достижению великих целей Зикингена, достаточно ясно чувствуется в пятом акте, — но он гибнет вследствие собственной ошибки.

Необходимым представляется мне и то, что Валтасар только в пятом акте получает возможность раскрыть Зикингену инстинктивную сущность дела, в третьем же акте не успевает этого сделать. Было бы ущербом либо для формального величия духа Зикингена, либо для его нравственного воодушевления, — что я еще менее мог допустить, — если бы Валтасар уже раньше раскрыл ему эту истинную сущность, а Зикинген все-таки продолжал бы держаться своей точки зрения. Он тогда непременно сделался бы менее значительным умственно или нравственно, чем он должен быть. Теперь же его интеллектуальная вина отнюдь не роняет его, потому что она опирается на нечто тоже существенное и правомерное, и она особенно смягчается тем обстоятельством, что и зритель или читатель до пятого акта наверное будет на его стороне. Точно так же и его нравственная вина, до его беседы с Валтасаром, является чисто бессознательной, но именно поэтому в данном случае вдвойне трагичной и подходящей к его чистому характеру, между тем как после этой беседы она стала бы сознательной и следовательно умаляющей его умственно или нравственно.

Только в тот момент, когда уже слишком поздно, допустима речь об ошибке, в которую впал Зикинген на победоносной высоте своего благоразумия, и тут Валтасар должен быть настолько же выше Зикингена, насколько последний выше Гуттена в третьем акте. Примыкающая непосредственно к этому диалогу крестьянская сцена являет как бы хор и ту среду, которая действительно откликается на ряд идей, высказанных Валтасаром.

Впрочем Зикинген в следующей же сцене возвращает себе свое яркое героическое превосходство над теоретическим превосходством Валтасара: между тем как последний совершенно подавлен и удручен, и кажется, что все должно погибнуть, Зикинген мгновенно выпрямляется и, став на точку зрения Валтасара, задумывает и выполняет план спасения.

То, что названным превосходством я вообще наделил Валтасара, а не Гуттена, мне тоже представляется необходимым.

Во-первых, в характере Гуттена, как я его обрисовал, преобладает лирический тон, и ему таким образом эта роль не подходит. Напротив, Зикинген есть и остается по отношению к нему, этому, как уже было замечено, лишь духовному революционеру, с начала до конца более сильным, политически дальновзорким реалистическим героем. Он предвидит развитие событий, как оно сложилось и должно было сложиться в результате одного только завоевания религиозной свободы, которую Гуттен считал нужным спасти прежде всего.

Во-вторых, у Гуттена не было бы, если бы он должен был руководить здесь Зикингеном, никакого другого средства кроме воодушевления. Но в этом отношении Зикинген ни на иоту не должен уступать ему, как он и действительно в своем сосредоточенном, непосредственно практическом пафосе в третьем акте давно уже решился действовать и выработал соответствующий план, между тем как Гуттен, которого он настолько превосходит, думает, что его еще надо побуждать к действию.

В-третьих, наконец, одно только воодушевление — и это возвращает нас к сказанному вначале — никогда не могло бы быть более сильным и верным средством, чем реалистическая проницательность Зикингена. Со своим игнорированием конечных средств оно ведь так же абстрактно-односторонне, как и сама эта точка зрения конечных средств, и если оно внутренне

II. ЛАССАЛЬ — ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, 21 марта [18]59 г.

Дорогой Энгельс!

Я был от души рад увидеть снова несколько строк от вас после такого долгого перерыва. Кажется, будто все хорошее опять начинает налаживаться.

Ваши небольшие поручения я исполню, и я уже сообщил, что нужно, Дункеру. С содержанием брошюры я жажду ознакомиться. Труд Маркса тоже скоро выйдет в свет; не знаю, почему дело так медленно подвигается вперед; объясняют это черепашьим шагом корректур, которые приходится сперва посылать в Лондон. Мне тем более хочется прочесть его, что вот уже несколько лет я ношу в голове одно экономическое произведение и теперь собираюсь разрешиться им. Но я этого не сделаю, если Маркс, как я почти уверен, перехватил у меня самое важное из того, что я хочу сказать. С тем большим нетерпением жду я появления его книги. Но если даже дело обстоит так, как я предполагаю, это тоже не беда. Если то, что надо сказать, уже сказано другим, я готов молчать. И я не знаю никого, кроме Маркса, кому бы я так охотно позволил устранить меня.

То, что он не прислал вам Гераклита, не хорошо с его стороны, так как сам он уже прочел его, а при ваших занятиях сравнительной филологией это труд во всяком случае мог бы представить для вас кое-какой интерес. Если бы я только знал об этих ваших занятиях, то с большим удовольствием послал бы вам тогда отдельный экземпляр, но сейчас в моем распоряжении нет уже ни одного. — Вы значит прочли объявление о моем Зикингене? Еще 10 дней назад я послал Марксу три экземпляра для него, для вас и для Фрейлиграта вместе с длинным, очень длинным сопроводительным письмом. Но послал через книгопродавца, и кто знает, когда посылка дойдет! По крайней мере Маркс пишет мне в письме, которое я получил сегодня, что он еще ничего не получил.

Но я должен со смехом протестовать против выражения в вашем письме, как бы доброжелательно оно ни было, что я «также бросился в эту специальность» (драму). Сохрани меня боже от

такого дела! До, во время и после сочинения этой драмы во мне было одинаково живо твердое убеждение, что я никогда больше не напишу ни одной драмы, как раньше у меня никогда не было желания писать их. Я не хотел бы этого, даже если бы мог; и не мог бы, даже если бы захотел. Эту одну драму я мог и должен был написать. Это мне было суждено. *C'était écrit là-haut!* (Это было предназначено свыше.) Об этом я подробно говорю в моем длинном письме к Марксу. Но вы и без того это поймете, когда прочтете драму. Надеюсь, что вы это сделаете, как только получите ее.

Но — несмотря на то, что к моему изумлению моя пьеса встретила необычайно сочувственный отклик, — больше я не напишу ни одной.

Отныне я остаюсь при своей политико-экономической и историко-философской специальности — я имею в виду историю в смысле социально-культурного развития, если только, на что впрочем весьма хотелось бы надеяться, не начнется наконец практическое движение и не приостановит на время всякую большую теоретическую деятельность.

Как охотно я оставил бы ненаписанным все, что я знаю, если бы зато удалось сделать кое-что из того, что мы (вся партия) можем.

С приветом и рукопожатием

Ваш Ф. Лассаль.

С 28 марта мой адрес: улица Bellevue, 13.

III. МАРКС — ЛАССАЛЮ

Лондон, 19 апреля [18]59 г.

Дорогой Лассаль!

Я не известил тебя особо о получении 14 ф. 10 ш. потому, что они были посланы заказным письмом. Но я написал бы тебе раньше, если бы не нагрянул один проклятый «кузен из Голландии» и не завладел бы излишками моего рабочего времени самым жестоким образом.

Теперь его нет, и я опять могу вздохнуть.

Фридлиндер писал мне. Условия не так выгодны, как те, о которых я сообщил тебе сначала, но все-таки «респектабельны». Когда будут улажены еще некоторые второстепенные пункты, — а это произойдет, я думаю, в течение этой недели, — я напишу тебе.

Здесь, в Англии, классовая борьба разворачивается превосходно. К сожалению в настоящий момент не существует больше ни одного чартистского органа, так что я около двух лет назад должен был прекратить свое сотрудничество в этом движении.

Перехожу теперь к «Францу фон Зикингену». Во-первых, я должен похвалить композицию и действие, а это больше, чем можно сказать о любой современной немецкой драме. Во-вторых, помимо всякого критического отношения к пьесе, она при первом чтении сильно взволновала меня, и поэтому на читателей, у которых эмоциональность больше преобладает, она окажет такое действие в еще большей степени. И это вторая, очень важная сторона. А теперь другая сторона медали: во-первых — это чисто формальный момент, — раз уже ты писал стихами, то мог бы отделать свои ямбы несколько более художественно. В общем однако, как ни будут шокированы этой небрежностью профессиональные поэты, я вижу в ней преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего кроме гадкой формы. Во-вторых: задуманная коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии. Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии? Вальтасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором и открытой войны с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию? Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства. Он погиб потому, что как рыцарь и как представитель гибнущего класса восстал против существующего или вернее против новой формы существующего. Если отнять от Зикингена

Richard L. Latham

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА МАРКСА
К ЛАССАЛЮ ОТ 19 АПРЕЛЯ 1859 г.

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

то, что принадлежит данному индивиду с его особенным образованием, природными задатками и т. д., то останется Гец фон Берлихинген. В этом же субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме, и поэтому Гете справедливо выбрал его в герои. Поскольку Зикинген — и даже отчасти Гуттен, хотя по отношению к нему, как ко всем идеологам класса, подобные формулировки следовало бы значительно видоизменить, — борется против князей (ведь его ход против императора объясняется только тем, что тот из императора рыцарей превращается в императора князей), постольку он на самом деле просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически. Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает его как рыцарь. Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. к тем самым классам, развитие которых — отрицанию рыцарства.

Если поэтому ты не хотел просто свести коллизию к той, которая изображена в Геце фон Берлихингене, — а это не входило в твои планы, — то Зикинген и Гуттен должны были погибнуть потому, что они в своем воображении были революционерами (последнего нельзя сказать о Геце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., сделались, с одной стороны, орудиями современных идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес. Но в таком случае дворянские представители революции, — за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти и кулачном праве, — не должны были значит так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя: представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить существенный активный фон. Тогда ты мог бы и в гораздо большей мере выразить как раз наисовременнейшие идеи в их чистейшей форме, теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с религиозной свободой гражданское единство. Тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим крупнейшим недостатком. Не впал ли ты до известной степени сам, как твой

Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?

Я не нахожу, далее, характерных черт в характерах. Я исключая Карла, Валтасара и Рихарда Трирского. А между тем найдется ли эпоха с более резкими характерами, чем XVI век? Твой Гуттен, по-моему, уж слишком представляет одно лишь «воодушевление»: это скучно. Разве он не был в то же время умницей, отчаянным остряком, и разве ты стало быть не поступил с ним крайне несправедливо?

В какой мере даже твой Зикинген, который кстати тоже нарисован слишком абстрактно, является жертвой коллизии, независимой от всех его расчетов, видно из того, как он вынужден проповедывать своим рыцарям дружбу с городами и т. д. и как охотно, с другой стороны, он сам расправляется с городами по способу кулачного права.

В отдельных местах я должен упрекнуть тебя за чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой, что проистекает от твоего пристрастия к Шиллеру. Так например на стр. 121, где Гуттен рассказывает Марии историю своей жизни, было в высшей степени естественно вложить в уста Марии слова:

«Вся гамма ощущений» и т. д. до
«И тяжелей она, чем бремя лет».

Предшествующие стихи от «Говорят» до «постарела» могли бы следовать за этим, но замечание «Лишь ночь нужна, чтоб девушка созрела и стала женщиной» (хотя оно показывает, что Мария знает не одну только абстракцию любви) совершенно излишне; и уж совсем недопустимо, что Мария начинает с рефлексии над своим собственным «построением». Лишь после того, что она успела рассказать в «один» час, она могла бы дать своему настроению общее выражение в сентенции о своем постарении. Далее, в следующих строчках меня шокируют слова «сочла я это правом» (т. е. счастье). К чему было отнимать у Марии ее наивный взгляд на мир, свойственный ей согласно ее прежним высказываниям, превратив его в правовую доктрину? Может быть как-нибудь в другой раз я изложу тебе мое мнение подробнее.

Особенно удачной я считаю сцену между Зикингеном и Карлом V, хотя диалог тут с обеих сторон слишком уж переходит в адвокатскую речь; очень удачны также сцены в Трире. Превосходны изречения Гуттена о мече.

Но на этот раз хватит.

В лице моей жены ты приобрел горячего поклонника твоей драмы. Только Марией она недовольна.

Привет.

Твой К. М.

Кстати: в статье Энгельса «По и Рейн» имеются зlostные опечатки, список которых я помещаю на последней странице настоящего письма.

IV. ЭНГЕЛЬС — ЛАССАЛЮ

6. Торнклиф Гров, Манчестер, 18-мая 1859 г.

Дорогой Лассаль!

Вас вероятно несколько удивило, что я вам так долго не писал, тем более, что я еще был в долгу перед вами с моим суждением о вашем Зикингене. Но именно это-то обстоятельство и удерживало меня так долго от писания. При теперешнем повсеместном оскудении изящной литературы мне редко случается прочесть подобное произведение, и уже очень давно не случалось прочесть такое, чтобы в результате чтения у меня установилась подробная оценка, сложилось какое-нибудь определенное твердое мнение. Появляющаяся мазня не стоит этого труда. Даже те немногие сравнительно хорошие английские романы, которые я еще время от времени читаю, например Теккерея, несмотря на их неоспоримое литературное и культурно-историческое значение, ни разу не могли настолько заинтересовать меня. Но благодаря столь долгому неупражнению моя способность суждения сильно притупилась, и должно пройти не мало времени, прежде чем я могу позволить себе высказать определенное мнение. Однако ваш Зикинген заслуживает иного отношения, чем все эти литературные изделия, и поэтому я не пожалел на него времени. Первое и второе чтение вашей во всех смыслах, по теме и по обработке, национальной немецкой

Robert C. Johnson

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА К ЛАССАЛЮ
ОТ 18 МАЯ 1859 г.

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

драмы взволновало меня душевно до такой степени, что я должен был на время отложить ее; тем более, что столь огрубевший в эти скудные времена вкус довел меня (я должен к моему стыду признаться в этом) до того, что порой даже малоценные вещи производят на меня при первом чтении известное впечатление. Так вот, чтобы добиться вполне беспристрастного, вполне «критического» отношения, я на время отложил Зикингена в сторону, т. е. я одолжил его некоторым знакомым (здесь еще есть несколько более или менее литературно образованных немцев). *Habent sua fata libelli*,— когда их одалживаешь они редко возвращаются, и моего Зикингена мне тоже пришлось добывать обратно силой. Могу вам сказать, что при третьем и четвертом чтении впечатление осталось то же, и в уверенности, что ваш Зикинген вполне способен выдержать критику, я прознесу теперь свое критическое слово.

Я знаю, что для вас не будет большим комплиментом, если я скажу, что ни один из нынешних официальных поэтов Германии и отдаленно не был бы в состоянии написать подобную драму. А между тем таков факт, и факт слишком характерный для нашей литературы, чтобы можно было умолчать о нем. Останавливаясь сначала на формальной стороне, отмечу, что я был весьма приятно поражен искусной завязкой и насквозь драматическим характером пьесы. В области версификации вы, правда, позволили себе некоторые вольности, но они мешают более в чтении, чем со сцены. Я хотел бы прочесть вашу драму в обработке для сцены; в своем настоящем виде она наверно не может быть поставлена. У меня был здесь один молодой немецкий поэт (Карл Зибель), мой земляк и отдаленный родственник, довольно много работавший в области сцены; как запасный прусской гвардии он возможно будет в Берлине, и тогда я может быть позволю себе дать ему записочку к вам. Он очень высокого мнения о вашей драме, но считает ее совершенно непригодной для постановки из-за слишком длинных монологов, во время которых только один из актеров играет, а остальным приходится дважды и трижды исчерпывать свою мимику, чтобы не стоять простыми статистами. Два последних акта вполне доказывают, что вам было бы не трудно сделать диалог быстрым и оживленным, а так как за исключением отдельных сцен

(что бывает во всякой драме) это можно было бы сделать и в первых трех актах, то я не сомневаюсь, что при обработке вашей пьесы для сцены вы учли это обстоятельство. Идейное содержание должно конечно при этом пострадать, но это неизбежно, и полное слияние большой идейной глубины, сознательного исторического содержания, которые вы справедливо приписываете немецкой драме, с шекспировской живостью и богатством действия, будет вероятно достигнуто лишь в будущем и может быть вовсе даже не немцами. Правда, именно в этом слиянии я вижу будущее драмы. Ваш Зикинген целиком на правильном пути, главные действующие лица в самом деле представляют определенные классы и направления, а стало быть и определенные идеи своего времени, и почерпают мотивы своих поступков не в мелочных индивидуальных вожделениях, а в том историческом течении, которое является их носителем. Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был бы заключаться в том, чтобы эти мотивы были более живо, активно, так сказать самородно выдвинуты на первый план ходом самого действия и чтобы, наоборот, аргументирующие речи (в которых я впрочем с удовольствием признал ваш старый ораторский талант, блиставший на суде присяжных и в народном собрании) становились все более излишними. Вы сами повидимому считаете целью этот идеал, поскольку вы устанавливаете различие между драмой для сцены и литературной драмой; мне думается, что Зикингена можно было бы, хотя и с трудом (ибо достигнуть совершенства действительно не так просто), переделать в указанном смысле в драму для сцены. С этим связана характеристика действующих лиц. Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем как она это делает, и с этой стороны идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением

Шекспира в истории развития драмы. Но это второстепенные вопросы, и я отмечаю их только для того, чтобы вы видели, что я призадумался и над формальной стороной вашей пьесы.

Что касается исторического содержания, то вы очень наглядно и с дозволительным указанием на последующее развитие изображали обе стороны тогдашнего движения, наиболее важные для вас: национальное движение дворянства, представляемое Зикингеном, и гуманистически-теоретическое движение с его дальнейшим развитием в богословской и церковной области, с реформацией. Больше всего нравятся мне здесь сцены между Зикингеном и императором, между папским легатом и архиепископом Трирским (здесь вам удалось в то же время, в антитезе между светским, эстетически и классически образованным, политически и теоретически дальновидным легатом и ограниченным немецким князем-попом, дать прекрасную индивидуальную характеристику, однако же прямо вытекающую из репрезентативного характера обоих действующих лиц); большой меткостью отличается характеристика и в сцене Зикингена с Карлом. Введя автобиографию Гуттена, содержание которой вы справедливо называете существенным, вы прибегли, правда, к весьма рискованному способу вставить это содержание в вашу драму. Очень важен также разговор между Валтасаром и Францем в V акте, где первый излагает своему господину подлинно революционную политику, которой он должен был бы держаться. Затем наступает собственно трагический момент; и именно поэтому мне кажется, что на него следовало бы сильнее указать уже в третьем акте, где для этого имеется не один повод. Но я опять возвращаюсь к второстепенным вопросам. Положение городов и князей тоже изображено во многих местах с большой ясностью, и этим так сказать официальные элементы тогдашнего движения приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские, элементы с их сопутствующим теоретическим выражением. Крестьянское движение было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена его собственной уча-

его руководства, и оно неизбежно должно было пасть. Я не могу судить о том, насколько исторически правильно ваше допущение, что Зикинген находился в некоторой связи с крестьянами, да это и не важно. Впрочем, насколько я помню, писания Гуттена там, где они обращаются к крестьянам, легко обходят этот щекотливый вопрос о дворянстве и пытаются направить всю ярость крестьян главным образом против попов. Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян. Но тогда тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления. Опуская этот момент, вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чинами выступил только против одного князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства. Но эта трусость была бы мотивирована гораздо лучше, если бы уже раньше был сильнее подчеркнут нарастающий гнев крестьян и вызванный прежними крестьянскими мятежами и «бедным Конрадом» несомненный переход дворянства к более консервативному настроению. Впрочем все это только один из способов, каким можно было ввести в драму крестьянское и плебейское движение, и существует по крайней мере еще десяток других, столь же или более подходящих.

Как вы видите, я подхожу к вашему произведению с очень высокой меркой — именно с наивысшей как в эстетическом, так и в историческом отношении, и то обстоятельство что только при таком подходе я могу сделать кое-какие возражения, явится для вас лучшим доказательством моей высокой оценки. Ведь в а и м н а я критика давно уже приобрела среди нас, в интересах самой партии, крайне откровенный характер, вообще же мне и всем нам всегда очень приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает превосходство. А таково ваше выступление и на этот раз.

Мировые события принимают повидимому весьма отрадный оборот. Едва ли можно представить себе лучшую основу для радикальной немецкой революции, чем та, которая создается франко-русским союзом. Нам, немцам, вода должна подступить к самому горлу, чтобы мы всей массой пришли в тевтонское бешенство; а на этот раз опасность захлебнуться подходит повидимому совсем близко. Тем лучше. При таком кризисе все существующие силы должны погибнуть и все партии распасться одна за другой, от «Kreuzzzeitung» до Готфрида Кинкеля и от графа Рехберга до «Геккера, Струве, Бленкера, Цитца и Блюма». В таких боях должен наступить момент, когда только самая непримиримая, самая решительная партия в состоянии спасти нацию, и вместе с тем должны быть даны условия, при которых только и будет возможно окончательно выбросить за борт весь старый хлам — внутреннее разделение, с одной стороны, и связанные с Австрией польские и итальянские привески, с другой. В прусской Польше мы не должны будем уступить ни пяди, а что

V. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, пятница 27 мая [1859 г.]

Дорогие Маркс и Энгельс!

Я наполовину завален работами, наполовину чуть не задурен личными делами, так что всякое обстоятельное писание для меня настоящая мука. Тем не менее я чувствую настойчивую потребность ответить возможно более исчерпывающим образом на любезные письма твое и Энгельса, который тоже написал мне очень подробно о моей драме. Ответ на оба письма лучше всего соединить вместе, потому что ваши возражения, не будучи прямо тождественны, все-таки в главном касаются одних и тех же пунктов.

Вы найдете вполне естественным, дорогие друзья, если я попытаюсь по возможности доказать свою правоту в тех пунктах, в которых я считаю себя правым, находя ваши соответствующие возражения либо вообще неверными, либо опровергнуты-

ми той или другой упущенной вами из виду стороной драмы. В этом вы конечно усмотрите отнюдь не личное тщеславие, не желающее терпеть никаких порицаний, а лишь тот же законный интерес к предмету, который и вас самих побудил написать мне так обстоятельно, за что я вам горячо благодарен, и который с моей стороны ни в коем случае не должен быть меньше оттого, что я — автор.

Относительно письма Энгельса я должен прежде всего заметить, что важнейшие из его возражений заранее отведены мною в письме о трагической идее моей драмы, которое я послал тебе, дорогой Маркс, одновременно с этой последней. Энгельс, правда, отнюдь не проглядел эту трагическую идею, которую я изложил в упомянутом письме и которая в самой драме выступает во всем пятом акте — в диалоге между Валтасаром и Францем, в крестьянской сцене, в монологе Франца и в его пылких излияниях в сцене перед вылазкой, — но зато и не уловил ее во всей ее отчетливости и цельности.

Прошу тебя поэтому переслать ему одновременно с этим письмом и то письмо, если только оно, как я надеюсь, еще у тебя: иначе и настоящее послание покажется ему висящим в воздухе, так как я тут везде предполагаю известными изложенные там идеи и молчаливо имею их в виду.

Что касается теперь твоей критики, дорогой Маркс, то не могу тебе выразить, до какой степени она меня обрадовала. Ибо можно быть уверенным, что критика, столь четкая, ничего не упустит из виду и не поддастся личному пристрастию. И потому, если ты так хвалишь композицию и действие, если ты заявляешь, что чтение моей драмы произвело на тебя такое сильное впечатление — и то же самое пишет мне Энгельс! — то я конечно могу быть весьма доволен. В особенности меня радует последнее. Ведь сам автор никогда не может судить, увлекательно ли его произведение или нет, а я всегда считал способность трагедии производить впечатление, бросать читателя в пот, лучшим ощутительным признаком ее достоинства.

Очень насмешило меня то, что ты даже ставишь мне в заслугу мои плохие стихи! Насмешило это меня не столько странностью такого утешения, сколько большим сходством наших характеров, которое тут проявилось. Ведь я действительно —

придавая большое значение силе языка — часто вполне сознательно и с почти умышленным равнодушием нарушал правила стихосложения. В процессе творчества мне это казалось настолько безразличным, что я даже не дал себе труда исправить стих там, где исправить его было бы самым легким делом. К тому же другие места показывают, что я умею сочинять и другие стихи. Но оппозиция против смехотворно преувеличенного значения, какое обыкновенно придают стиху, увлекла меня к этой презрительной небрежности. При всем том мне теперь жаль, что я слишком поддался этому презрению. Кое-кого это может смутить, и вообще, когда хочешь произвести впечатление, важно сделать вещь безупречной даже в мелочах. Однако это уже *moutarde après dîner* (горчица после обеда).

Затем ты переходишь «к другой стороне медали». При этом ты сперва еще соглашаешься со мной, что изложенная в моем письме трагическая идея не только проведена в драме, но что эта коллизия «не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг.». «Я могу поэтому, — прибавляешь ты, — лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии».

В этих заявлениях содержится в сущности наивысшее одобрение, какого только я добивался для своей трагедии и на какое рассчитывал. Это как раз тот пункт, — и таково собственно говоря всегда должно быть отношение трагической идеи драмы к самой драме, — ради которого одного лишь я и написал всю вещь и изображению которого я строго подчинил все остальное. Таким образом в этих-то твоих заявлениях я и нахожу наивысшее для меня оправдание моей драмы в целом — разумеется лишь со стороны ее содержания.

Какие же недостатки ты все-таки находишь в этом отношении? Ты говоришь: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии?» Несомненный утвердительный ответ на этот вопрос вытекает уже из того, что эта трагическая коллизия есть формальная и, как я уже разъяснил в своем письме, не специфически свойственная какой-

либо определенной революции, но постоянно повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой революционной ситуации, бывшая налицо как в 1848 и 1849 гг., так и в 1792 г. и т. д. Эта коллизия присутствует таким образом в большей или меньшей степени во всякой революционной ситуации. Уже по одному этому ее можно было приписать и революционному положению 1522 года, если бы она даже и не играла тогда особенно важной роли.

Но и исторически нет никакого сомнения, что эта коллизия существовала и тогда весьма реально, что она во всяком случае была тоже очень важной, хотя и не последней причиной гибели Зикингена, и что она — дипломатически-реалистическое направление Зикингена, отказ от открытого обращения к революционным силам — даже была единственной виновницей того, что Зикинген погиб именно так, как он погиб, т. е. что он погиб, не ввязавшись вообще ни в какую действительную борьбу, что он был сразу же задушен, не имея даже возможности развернуть свои силы. Валтасар очень выразительно подчеркивает, что он мог бы погибнуть и действуя иначе, но что это была бы гибель совершенно иного рода:

Ты б мог изведать в исполинской схватке
Всю мощь той почвы, что тебя вскормила,
Ты пал бы, как стоял, во всей красе!
Всего страшнее не погибель — страшно,
Что, погибая, падаешь в расцвете
Неизжитых, непобежденных сил,
Вот что герою тяжелей всего!

В самом деле, если бы Зикинген обратился с открытым воззванием к революционным элементам или, что сводится приблизительно к тому же, подождал бы еще $1\frac{1}{2}$ года и дождал бы до начала крестьянских войн, то борьба была бы во всяком случае совершенно иной и приняла бы гигантские размеры. Несомненно, что в последнем случае крестьяне нашли бы в нем действительно преданного их делу вождя вместо вынужденного к этой роли и предательского вождя в лице Геца. При государст-

венном гении Зикингена, при его громадном влиянии на швабский союз, при его близком родстве с влиятельными лицами того времени борьба приобрела бы чрезвычайно колеблющийся характер, чреватый самыми переменчивыми перипетиями. Поэтому и все историки ставят себе вопрос: что было бы, если бы Зикинген подождал еще два года и оба движения встретились бы друг с другом?

Что получилось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный *au fond* интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо стать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому угашивает действительность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей действительности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигаемый интерес так же невозможен, как и смелый подвиг.

(Правда, если в трагедии прославляется решающее значение индивидуального действия, отрешенного и оторванного от общего содержания, с которым оно оперирует и которое его определяет, то трагедия превращается в бессмысленную нелепость. Но такого разрыва этих двух факторов вы уж конечно не поставите в упрек моей пьесе, хотя в дальнейшем я и укажу на одну упущенную вами из виду сторону дела, с которой ошибочное индивидуальное решение Зикингена необходимо определяется именно той общей ситуацией, в которой он находится и на которую вы напираете.)

Но если даже целиком придерживаться этого критически-кон-

структивного взгляда на историческую необходимость, все еще остается та возможность, что в случае слияния обоих этих движений, зикингеновского и крестьянского, разыгрался бы эпизод вроде того (привожу лишь приблизительный, а не аналогичный пример), каким в Англии было выступление индипендентов.

Союз между Зикингеном и крестьянами был вполне возможен в особенности потому, что идея крестьянской войны (чего, как мне кажется, вы совершенно не заметили и к чему я возвращусь ниже) была в конечном счете не менее реакционной, чем идея Зикингена.

Ты далее говоришь: «Валтасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором в открытой войне с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию?»

В вышесказанном уже дан ответ на этот вопрос.

Здесь следует прибавить еще только одно. Если Валтасар, этот человек, поставленный в центр всей ситуации и так проникательно ее постигающий, может предаваться подобной иллюзии, как ты и сам допускаешь, то этим все сказано. Ведь в драме мы имеем дело не с критически-философской истиной, а с эстетической иллюзией и правдоподобием. Если моя формальная трагическая идея, согласно которой Зикинген погибает только оттого, что он не преодолел вышеупомянутой коллизии и не решился своевременно на революционное действие, так проведена через всю пьесу и правдоподобно представленную в ней ситуацию, что даже столь проникательный человек, как Валтасар, может питать иллюзию, будто Зикинген был бы в силах вызвать революцию и с ее помощью победить, — то для зрителя такое заблуждение конечно еще гораздо более возможно. А в этой эстетической иллюзии и заключается все дело. Драма — не критико-философский трактат по истории.

Ты продолжаешь: «Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства». (Если под этим «лукавством» ты понимаешь, как и я в моем письме, отсутствие у него решимости на революционное действие, то он погиб именно из-за него, чем бы ни была в свою оче-

редь неизбежно вызвана сама эта нерешительность.) «Он погиб, — говоришь ты, — потому, что как рыцарь (этот момент был, как вскоре обнаружится, принят мною во внимание в высшей степени) и как представитель гибнущего класса (поскольку этот момент совпадает с предыдущим, он был принят во внимание вместе с ним; поскольку же он с ним не совпадает, он не был, и справедливо не был, принят во внимание) восстал против существующего или вернее против одной формы существующего».

Теперь я должен оправдать оба мои замечания, приведенные в скобках. Что он погиб оттого, что выступил «как рыцарь» против одной формы существующего, это, говорю я, очень резко подчеркнуто мною. Ибо оттого, что он внутренне еще не может до конца порвать со старым, к которому он сам еще причастен и представителем которого он таким образом является, — оттого-то и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось пьесы, и кроме того он резко подчеркнут в отдельных деталях, ибо именно отсюда, из этого ветхого рыцарского Адама, который вдруг врывается в его революционные решения, и вытекает то, что он так ценит рыцарские орудия своей власти, свои замки, Эбернбург и т. д., вытекает мучительная борьба, которая происходит в его душе, когда Валтасар убеждает его выбросить вон весь этот старый рыцарский хлам. И в высшей степени резко подчеркнуто у меня это противоречие Валтасаром и самим драматическим развитием всей пьесы, поскольку Валтасар и ход событий насильно ставят Зикингена перед альтернативой: если он действительно хочет достигнуть своих революционных целей, он должен пожертвовать всеми своими замками, в том числе и Эбернбургом — «моей твердыней и моим оплотом», — короче, всем своим рыцарским существованием, и, как беглый пролетарий, броситься нищим в объятия крестьянства. Уже в конце четвертого акта, когда он вынужден распустить войско, чтобы не разместить его по замкам своих друзей и тем самым не задушить их сразу же, начинается сказываться это противоречие между его революционными целями и всем его рыцарским существованием и способом веде-

ния войны, а в пятом акте Валтасар четко резюмирует и чрезвычайно резко подчеркивает противоречие между его революционными тенденциями и его рыцарством с возможными в пределах последнего средствами борьбы:

Как, государь! Ужель сия нора —
Предел могущества и сил Франциска?
В вас, в вашем имени вся ваша мощь,
В доверии, с каким душа народа
Сочувственно несется к вам навстречу.
И стены замка только отделяют
От вашей силы, от народа вас, и т. д.

И он указывает ему на тлеющее крестьянское восстание. В целях овладения этим последним он требует от него, чтобы он одним взмахом отбросил от себя всю рыцарскую ветوشь и предложил сдачу всех замков, включая Эбернбург. Рыцарский Адам в Зикингене страстно восстает против этого:

Ты бредишь, Валтасар! Как? Эбернбург —
Мою твердыню, мой оплот — я должен...

Но Валтасар резко противопоставляет ему в ответ одно только слово:

Там за стенами встретит вас народ.

Зикинген переживает тяжелую борьбу, но он выходит из нее победителем. Он перелаживает себя и уполномочивает Валтасара на все. Он так хорошо понял сделанный ему упрек, что повторяет его дословно (5-я сцена) в своем монологе:

Он прав! Мне эти стены не оплот,
А только грань меж мною и народом.
Там, там он ждет меня под тяжким гнетом.
Ждет с страстною тоской, и т. д.
Иду, Германия, и т. д.

Теперь, в этот момент своего, я сказал бы, апофеоза, он умеет победить в себе, но слишком поздно, рыцарского Адама, он сам называет «обломками бесплодного лукавства» свое прежнее обращение к рыцарским средствам борьбы и связан-

ное с этим дипломатически-расчетливое поведение в самый разгар революционного действия. Он восклицает:

... и еще тесней

Сжимает грудь мою змея у к о р а.

Так разруби ж двойной мне узел ты (меч),

Один из них разрубишь ты наверно.

И особенно ясно он выражает это в обращении к Марии, с которым на устах и бросается в гибель:

Твой жребий поручаю добрым силам,

М е н я же призывают те, что м с т я т

З а з а б л у ж д е н и е!

При чем здесь конечно следует понимать не простое заблуждение ума, а ту нравственную вину, что посреди революционной стихии он не был до конца революционер, оставался во власти комбинаций своего класса, и что он должен искупить это противоречие действительной или хотя бы только возможной гибелью:

Иду, Германия! Будь ты мне искуплением

От всех пороков и земных сует:

Коль меж тобой и мной воздвиг я стену,

Так сам же я дерзну ее сломить!

Стало быть, когда ты говоришь: «Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает его как рыцарь», — то это в высокой мере верно, но в такой же мере и принято во внимание в моей драме. Ибо ведь если он хочет действовать дипломатически-лукаво, орудия своими рыцарскими средствами борьбы, вместо того чтобы с самого начала открыто обратиться к революции, то и это не его случайное индивидуальное свойство, а опять-таки результат того, что он своей позицией и классовым положением тесно связан с существующим порядком, с рыцарством, чем и определяется его индивидуальность. (Как у нас например лучшие буржуа, сами по себе наиболее демократичные, обыкновенно не становятся подлинными революционерами, потому что они сами участвуют в условиях жизни своего класса и связаны с ним.)

То, что вы повидимому принимаете за чисто случайную индивидуальность Зикингена, я рассматриваю, наоборот, как неизбежное, удерживающее его от решительного революционного шага воздействие его классового положения, с которым он еще тесно связан. В том же смысле, в каком Карл V говорит во втором акте:

Кто ж образует сам свои решения,

А не находит их в готовом виде

В железных письменах своей среды?

И что это воззрение есть единственно правильное, вытекает еще из двух следующих соображений: 1) в противном случае, именно потому, что в остальном я приписал Зикингену вполне революционные цели, было бы совершенно непонятно, почему революционный элемент все же по-настоящему не прорывается у него наружу. Так как в отношении своих целей, ума и воли, во всем, что составляет сознательную сторону человеческого духа, Зикинген вполне революционен, то этот провал может объясняться только тем, что бессознательная сторона его существа, его натура, т. е. как раз та сторона, которая является продуктом условий существования индивида, остается еще тесно связанной с существующим строем, остается не-революционной.

2) Это вытекает далее из того, что именно в этом отношении все трое, Зикинген, Гуттен и Валтасар, желающие в общем одного и того же, отличаются друг от друга, в точном соответствии с условиями своего существования, как раз тем, как они этого желают. Гуттен, хотя и рыцарь по рождению, но в качестве настоящего идеолога вообще независимый от каких бы то ни было сословных уз, всей своей жизнью порвавший со своим классом, наконец принадлежащий к рыцарству лишь по праву рождения, а не по своему реальному положению и материальным условиям, — Гуттен стоит в третьем акте за восстание как чистый идеалист; он — за открытый призыв повстанцев к дворянству, городам и крестьянам. Дипломатические ходы Зикингена не по нём. Но как идеолог-идеалист он стоит за восстание только ради чисто духовных, религиозных целей. Увлеченный гораздо более обшир-

ными государственно-реальными целями Зикингена и силой, с какой тот разворачивает перед ним свой величественный замысел, он тотчас же с бурным воодушевлением, свойственным ему как чистому идеалисту, присоединяется к политическим планам Зикингена, предоставляя ему их детальное выполнение как нечто такое, в чем он сознает себя менее компетентным. Валтасар, человек низкого происхождения, не связанный с условиями классового положения Зикингена, за восстание в его истинном и революционном виде. Только один Зикинген стремится к восстанию и представляет его себе в не-революционной, реалистично-дипломатической форме, которая, с одной стороны, в отношении цели выходит далеко за пределы непосредственных планов Гуттена, но с другой — несомненным образом отмечена влиянием его классового положения, материальных средств и реальной позиции, словом является продуктом еще не умершего в нем рыцарского Адама.

Все трое различаются таким образом между собой тем, как они хотят, — в точном соответствии с теми условиями существования, с которыми они связаны или не связаны.

Мимоходом замечу здесь еще кое-что против Энгельса. Вы оба находите, что и Зикинген обрисован все-таки слишком абстрактно. Об этом, как обо всех сторонах формального выполнения, я не позволю себе спорить. Это вам как непредубежденным читателям конечно виднее, чем автору. Я спорю только о вопросах, относящихся к содержанию. Но когда Энгельс совершенно справедливо замечает: «Личность характеризуется не только тем, чего она хочет, но и тем, как она этого хочет», то я позволю себе заметить, что, согласно сказанному, все три лица представляются мне весьма определенно охарактеризованными в том отношении, как они хотят достигнуть общей цели.

Далее ты говоришь: «Зикинген погиб потому, что как представитель гибнущего класса восстал против одной формы существующего». Поскольку этим утверждается лишь то, что он погиб именно потому, что бессознательно и произвольно был связан с условиями существования этого класса и поэтому не мог добиться решительного выявления противоречий, — постольку это совпадает с вышесказанным: он погиб потому, что восстал как рыцарь против одной формы существующего, что и

было, как я уже заметил, полностью принято мною во внимание и даже сделано центральной идеей пьесы. Поскольку же твое утверждение идет дальше, то изобразить Зикингена таким я не счел возможным. Со стороны его сознания я приписал ему наоборот самые революционные цели и изобразил его человеком, способным подняться и до всех дальнейших революционных выводов, к которым его мог бы привести практический успех революции, если бы он победил и продолжал жить.

Ведь я наделил его даже способностью — правда, лишь в момент апофеоза, правда, когда это уже слишком поздно, — совлечь с себя и отбросить прочь все рыцарское.

Что я имел право приписать ему такую революционную позицию, вытекает из следующего: он стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиваться как в том смысле, что он эти выводы сделает, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью. Насчет его класса нельзя конечно усомниться ни на одно мгновение, что он занял бы эту последнюю позицию. И я готов также согласиться с тобою, хотя и можно было бы кое-что возразить на это, что исторически определенный индивид Зикинген вел бы себя как классовый индивид и взял бы именно это направление. Но абсолютной необходимости для любого индивида в этом нет. Индивид может все-таки целиком подняться над своим классом, в особенности когда он получил идеологическое образование, — а он получил его отчасти благодаря своему alter ego Гуттену, отчасти же и в достаточной мере благодаря самому себе; сам Гуттен говорит о нем, что он настолько eruditus, насколько это вообще возможно sine literis (без знания греческого и латинского языков). Так, Сен-Жюст был маркизом, Сен-Симон — пэром Франции, а более близкий к той эпохе Ян Жишка был тоже рыцарем и дворянином. В жизни Зикингена мы имеем кстати то в высшей степени удобное для драматического поэта обстоятельство, что он погибает в самом же начале движения, что он не пережил ни одной действительной ситуации, которая поставила бы его перед указан-

ной альтернативной, что поэтому нет ни одного совершенного им факта, дающего возможность судить, как он отнесся бы к дальнейшему развитию движения: все его бумаги и более или менее выработанные планы погибли при пожаре Эбернбурга, так что все известное относительно последних не выходит из круга все того же первоначального революционного «в себе» и поэтому производит очень благоприятное впечатление (не говорю уже о том, что имеется много весьма любопытных, хотя прямо и не решающих симптомов и в пользу его возможного дальнейшего развития). Я имел таким образом право представить его так, как будто его личный гений мог в случае надобности подняться до всех революционных выводов, именно потому, что он фактически не дожил до противоположной эволюции, и следовательно это можно было представить в достаточно приемлемой и правдоподобной форме, с достижением полной эстетической иллюзии, не нарушаемой никакими фактами из области народного сознания или истории. Но раз я имел на это право, то ясно само собой, что я и очень много выигрывал от этого. Действительно, как мог бы я возбудить интерес к личности, как мог бы сам заинтересоваться личностью, преследующей сознательно реакционные дворянские цели, являющейся сознательным представителем этого класса — не только против князей, но и против народа? Но тем более потрясающим и тем более революционным одновременно должно было стать впечатление, когда я одарил его всевозможными революционными добродетелями, частью действительными, частью внутренне для него возможными, и когда он тем не менее погибает у меня от того, что он не вытравил из своей натуры одну последнюю преграду, произвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера.

Если поэтому ты говоришь, что Зикинген должен погибнуть у меня оттого, что он был революционером лишь «в своем воображении», то так оно и есть в моей трагедии, ибо если от вполне законченного революционера его отделяет хотя бы только одна единственная преграда, значит он и остается революционером лишь «в воображении». Одна преграда или сто преград — это безразлично: несоединимое останется несоединимым.

Но сверх этой одной преграды я не хотел и не мог, при поставленной мною цели, создавать еще другие.

Ты думаешь, что Зикинген отличается от Геца только тем, что он воображал себя революционером, и что если отнять у Зикингена образование, врожденные задатки и т. д., то получится Гец. Против этого я должен выдвинуть два обстоятельства:

1) хотя это в сущности совершенно безразлично для моей драмы, — ты тут решительно ошибаешься и насчет исторического Зикингена. Я целиком подписываюсь под твоей характеристикой Геца как «жалкого субъекта», и лишь отсутствием исторического чутья у Гете я всегда объяснял себе то, что он мог сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца. С твоей похвалой по адресу Гете я не могу поэтому согласиться, ибо ведь Гете желает сосредоточить на нем положительный интерес.

Но совсем иначе обстоит дело с Зикингеном. Исторический Зикинген не совпадает конечно целиком с Зикингеном моей трагедии, нисколько, — но еще менее совпадает он с тем Зикингеном, какого ты себе представляешь. В этом ты можешь мне пока поверить на слово, так как я подробнее знаю его биографию. При случае я мог бы представить доказательства в пользу моего утверждения. Существует множество указаний на то, что Зикинген мог бы даже пойти вместе с крестьянами. Таковы: «Новый Карстганс», в котором Гуттен в диалоге с одним крестьянином называет его крестьянским вождем; опасение князей, что он поднимет «восстание с простолюдином»; имя «Жишка», которым он любил сам себя называть, и т. д. При всем том я согласен, что можно сомневаться, пошел ли бы он действительно вместе с крестьянами, и во всяком случае, как далеко он пошел бы вместе с ними. Но когда ты говоришь, что за его словами коварно скрываются мечты «о старом кулачном праве», то ты ошибаешься. Эту стадию он давно перерос; об этом свидетельствуют самые несомненные данные. С городами он пошел бы наверное, и он всячески добивался того, чтобы стать их вождем. Когда ты говоришь, что, не будь он таким, «каким ты его себе представляешь, он должен был бы апеллировать непосредственно к городам (и крестьянам), т. е. «к классам, развитие которых = отрицанию рыцарства», то я возражаю, что

он и в самом деле беспрестанно апеллировал к городам, даже еще до восстания, и что усерднее всего он добивался именно союзов с городами в Страсбурге, Бамберге и т. д. В промежутки времени между трирским походом и осадой его замка он прямо засыпал города посланиями, созывал съезды городов или посылал к ним своих гонцов, обращался даже к своим старым врагам из Вормса и т. д. Города подвели его.

В речи, которую он произносит у меня в третьем акте перед жителями города Ландау, он в вопросе о городах вполне верен тому повороту, который позднее произошел в его политике.

Наконец 2) — и это главный пункт — если бы ты был даже вполне прав относительно исторического Зикингена, ты все же не прав по отношению к моему Зикингену. Разве поэт не в праве идеализировать своего героя, наделить его более совершенным сознанием? Разве Валленштейн Шиллера историчен? Разве Ахилл Гомера — действительный Ахилл? Энгельс прямо признает это. Он говорит: «Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян».

Раз уже я заговорил о праве поэта идеализировать свои исторические персонажи, то укажу тут же обе границы, в которых ему дозволено пользоваться этим правом: 1) он не смеет приписывать своему герою таких взглядов, которые выходят за горизонт в сей той эпохи, в которой тот жил. В противном случае он будет неисторичен и тенденциозен в худшем смысле этого слова. Но все то, что в ту эпоху так или иначе думали, говорили или представляли себе наиболее свободные и передовые умы, все это он может сконцентрировать, как в фокусе, в личности своего героя. И действительно я не вложил в уста Зикингена или Гуттена ни одного воззрения, ни одного слова, про которое нельзя было бы доказать, что так думали или говорили в ту эпоху. 2) Но и этому праву поэта концентрировать все духовные лучи эпохи в личности своего героя, как в фокусе, наделить его наивысшим сознанием, какое только было возможно в ту эпоху (хотя бы он в действительности и не обладал им), поставлена вышеуказанная граница: необходимо, чтобы герой не вступил в противоречие с этими воззрениями на каком-либо этапе своего фактически-

го развития. Необходимо, другими словами, чтобы он шел в ногу с развитием событий или же чтобы он вовсе не пережил это развитие, чтобы он погиб в самом начале, когда ситуация еще была двусмысленна. При несоблюдении этой границы поэт пойдет прямо против истории, допустит неправду и уже не сможет дать ничего правдоподобного и захватывающего, им будут нарушены все законы эстетической иллюзии. Поясню мой взгляд на одном примере. Так как Лютер дожил до крестьянских войн и выступил против них, то было бы невозможно и бессмысленно отвести ему в трагедии противоположную роль защитника крестьянского дела; но если бы Лютер умер, подобно Зикингену, до крестьянских войн и до споров с Мюнцером, то было бы пожалуй возможно — хотя я не хочу сказать здесь ничего определенного об этом конкретном случае и привожу его только как пример — изобразить его в какой-нибудь драме так, как будто он взял на себя защиту крестьянского дела. Ибо если многое в его точке зрения должно было поставить и действительно поставило его во враждебное отношение к крестьянству, то было в его точке зрения и много других моментов (как фактически на него сначала и возлагали надежды в этом отношении). Значит здесь был налицо неразрешенный конфликт разноречивых моментов, а где положение таково, там свободна если не историческая критика, то во всяком случае творческая фантазия. Это ты, по-моему, упускаешь из виду. Так например, в упомянутом случае Лютеру можно было бы отвести такую роль, как если бы он был способен к тому развитию, какое фактически породил из себя и переживал некоторое время протестантизм в лице английского индепендентства.

Итак ясно, что большинство твоих возражений касается лишь исторического, а не моего Зикингена. Мой Зикинген вовсе не мог бы пасть жертвой реакционных целей, потому что я и не наделил его ими, а только поставил его перед реакционной преградой, каковой является его не доходящая до революционного взрыва, определяемая его классовым положением натура.

Если признать мое право на это, которое я постарался обосновать в предыдущем и которое Энгельс признает и сам, то все

остальное в драме развивается, как мне кажется, в высшей степени последовательно. Но есть еще один упрек, который мне здесь делает Энгельс. Он согласен, что я мог приписать Зикингену и Гуттену намерение освободить крестьян. «Но тогда, — говорит он, — тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно п р о т и в этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически-необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления». Короче говоря, он думает, что Зикинген должен был бы погибнуть у меня из-за нежелания его партии, дворянства, следовать за ним в его революционных планах, из-за возникшего отсюда разлада и т. д. Энгельс высказывает тут вполне верный взгляд, что я мог поднять л и ч н о с т ь Зикингена, но не е г о к л а с с, над классовыми целями. Вызванный этим конфликт и должен был бы стать мотивом гибели моего героя. Но при всей пронизательности этого упрека он все-таки несостоятелен: 1) прежде всего замечу мимоходом, что я считаю даже невероятным, чтобы Зикинген, если бы он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми, тем более, что крестьяне являлись более сильным элементом. Для этого он был самый подходящий человек. Обречь его на такую гибель значило бы с моей стороны признать за дворянской партией силу и значение, которых она уже не имела. Кроме того, как бы ревностно и горячо ни было ему предано дворянство, без крестьян и городов он все равно должен был бы погибнуть. Истинную причину его гибели надо значит искать в чем-то другом, а не в сопротивлении дворянской партии. И наконец союз крестьян с дворянством тоже был вполне мыслим, о чем скажу ниже. Но 2) такого отказа со стороны дворянства следовать за ним в его планах освобождения крестьян и вызванных этим трений и ухода от него фактически вовсе не было. Все это вполне могло бы случиться, если бы Зикинген продолжал жить, заключил бы союз с крестьянами и т. д. Но на самом деле этого не было. А изменять в области истории такие реальные события я считаю прямо н е п о з в о л и т е л ь н ы м. Зато вну-

тренние цели, которые могли и не обнаружиться явно ни в каких фактах, я считаю вполне дозволенным — покуда продолжается двусмысленная ситуация — вложить кому-нибудь в душу, так как в ней никто читать не может. Но сочинять такие реальные события, как раздоры, распри со своей партией, конфликты и споры с другими дворянами по поводу его тенденций в крестьянском вопросе — а такие осязательные факты пришлось бы внести в историю от себя, потому что ничего подобного фактически не случилось, — это, по-моему, непозволительно.

3) Наконец, и это главное, выбранный мной конфликт несомненно гораздо глубже, трагичнее и революционнее, чем тот, который мне рекомендует Энгельс. Он глубже и трагичнее уже потому, что мой конфликт имманентен самому Зикингену, между тем как энгельсовский конфликт имел бы место лишь между ним и его партией. Куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне совершенно оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса, — страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище.

Но именно потому, что вина Зикингена имманентна у меня, ему самому, конфликт становится гораздо более революционным. Ведь нет никакой специфической или очень глубокой революционной «морали» в том, что можно погибнуть, когда идешь дальше своей партии и поэтому уже не имеешь ее за собой. У меня наоборот: Зикинген погибает оттого, что идет недостаточно далеко. И я нахожу в высшей степени революционную «мораль» в обнаружении того, что как бы революционен ни был кто-нибудь по своему содержанию, какими бы материальными средствами и т. д. он при этом ни располагал, он все-таки должен поибнуть, если вступит в какой бы то ни было компромисс с существующим, хотя бы даже то была сделка только в отношении чисто формальных моментов его действий и хотя бы он именно благодаря этой сделке в области формы приобрел как угодно много благоприятных условий и реальных выгод. Энгельс, правда, говорит: «Опуская этот момент (его конфликт), вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чи-

нами выступил только против одного князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства».

Мне и в голову не приходило заставить Зикингена погибнуть из-за равнодушия и трусости дворянства. Валтасар в пятом акте излагает перед Зикингеном совершенно иные причины его гибели и упоминает о нерешительной позиции дворянства только в таких выражениях: «пока, напуганное первой неудачей, дворянство робко отступает вспять» и т. д., — напоминает о ней только как об одной из наименее важных причин временного затруднения Зикингена. Ясно также, что даже преодолев его, Зикинген все-таки не мог бы победить без крестьян, почему Валтасар и указывает на них как на единственных победоносных носителей движения. Даже о городах он упоминает при этом только вскользь.

Критика Валтасара основывается не только на этом временном затруднении в Ландштуле. Ведь уже в третьем акте, а затем, возвращаясь к этому вопросу и развивая его подробнее в пятом, он порицает поход Зикингена на Трир, где дворянство было еще целиком и горячо предано ему. (Валтасар говорит в третьем акте: «Будь я с вами, я дал бы вам—ей-ей—другой совет, не столь же умный и все-таки, быть может, поумнее»; и в пятом акте он только разъясняет, в чем бы заключался этот совет.) Таким образом Валтасар объясняет катастрофу не трусостью дворянства, этой отрицательной причиной, проявившейся лишь в Ландштуле, а тем, что Зикинген не решился на положительное выступление совсем иного рода.

Точно так же и крестьяне выведены на сцену вовсе не между прочим, как это думает Энгельс, а объявлены Валтасаром главной осью всего, единственным «сим победиши», и, как я еще покажу ниже, все строится на них.

Когда Энгельс говорит, что Зикинген погибает у меня оттого, что он вступил в борьбу лишь с одним князем, а не сразу же с императором и имперскими чинами, то в такой форме это соображение совершенно парадоксально и даже непонятно. Ведь, вообще говоря, легче справиться с одним князем, чем со всеми князьями и с императором в придачу. Необходимо поэтому выразить это в положительной форме и сказать: Зикинген погиб-

бае оттого — и на это и указывает ему Валтасар с беспощадной ясностью как на причину его гибели, — что он не ринулся со всего размаха в самое сердце революции, что он не апеллировал, сжигая за собой все корабли и мосты, к низшему и самому крайнему революционному слою и не развязал таким образом все революционные силы народа, что он не доверился в безумном идеалистическом порыве, пренебрегая всеми реалистическими сомнениями и умствованиями, одному лишь могучему напору революционной идеи и ее наивысшему напряжению.

Но в таком случае апатия дворянства и не является уже причиной его гибели. Выраженный в такой форме конфликт не сводится уже к «более мелким размерам», но вырастает в глубочайшую и вечную коллизию революционной идеи с самой собой и в то же время влагается в самого Зикингена как еще действующий в нем и поэтому обуславливающий его вину момент.

Но Энгельс не написал бы конечно этих фраз, если бы прочел мое первое письмо и усмотрел бы из него всю трагическую идею моей драмы. Ибо эта идея, как она изложена у меня в письме, действительно проведена и в самой пьесе; этого, я думаю, он точно так же не станет оспаривать, как не оспариваешь ты, да это впрочем доказывает весь пятый акт.

Перехожу наконец к последним, но вместе с тем наиболее важным для меня возражениям, потому что ими затрагивается интерес партии, который я признаю весьма правомерным. Вы оба сходитесь на том упреке, что я «слишком отодвинул на задний план» крестьянское движение, что я «недостаточно выдвинул его вперед». Ты обосновываешь это так: Зикинген и Гуттен должны были бы погибнуть у меня оттого, что они, подобно например польскому дворянству, были революционны лишь в своем воображении (поскольку это верно, это, как я только что показал, высказано в моей драме), на самом же деле защищали реакционные интересы (но в моей драме они их не защищают, а потому и не могут погибнуть из-за них). «Дворянские представители революции, — говоришь ты, — за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти (restet! но это относится также, и в такой же мере, к крестьянам) и кулачном праве (это

неверно даже по отношению к историческому Зикингену в его второй период) не должны были значить (это «значит» показывает, что эти слова являются лишь выводом из предыдущего и падают вместе с ним) так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя; представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить гораздо более существенный активный фон. Тогда ты мог бы и в гораздо большей мере выразить как раз наисовременнейшие идеи в их наиболее наивной форме (??!), теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с религиозной свободой гражданское единство». «Не впал ли ты до известной степени сам, — восклицаешь ты, — как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?»

О, в высшей степени несправедливый друг! Прежде всего отвечу мимоходом на упрек в том, что я инсценировал апофеоз лютеровско-рыцарской оппозиции! Каким это образом? Я думаю наоборот, что в моей драме протестантизму приходится гораздо хуже, чем католицизму. Во втором акте папский легат сводит протестантизм, этот еще недозревший плод, к свободно-человеческому атеистическому гуманизму как к его истинной основе и конечной цели его развития, как к его действительному духовному корню. Гуттен делает то же самое в третьем акте, описывая свою жизнь и борьбу с Рейхлином. Так обстоит дело с духовной стороной протестантизма и с его критикой у меня. В политическом же отношении уже во втором акте, в диалоге с императором и еще более решительно в третьем акте, в своем диалоге с Гуттеном, когда последний требует, чтобы он поднял меч в защиту религиозной свободы, Зикинген доказывает, что протестантизм может только разрушить всякое национальное и политическое бытие, если он не будет взят в руки самим императором и превращен в великую национальную и государственную идею. Он показывает, предвещая заранее ход развития, наступивший в Германии после Вестфальского мира и благодаря ему, что протестантизм неизбежно приведет нацию к окончательной политической смерти и гибели, что он является могильщиком нашей исто-

рии. (В этой мнимо протестантской пьесе нет ни одной протестантской фигуры, кроме осмеянного Эколампадиуса. Гуттен изображен в чисто гуманистических, Зикинген в чисто политических тонах.) Так обстоит дело с прославлением лютеровской оппозиции. Что же касается рыцарской оппозиции, то ведь для Зикингена она вообще не существенная цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет использовать для провозглашения себя императором, чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную и национальную идею. От всякого другого осуществления этой идеи, кроме цельного и обязательного, проведенного императором для всей Германии, от всякого частичного ее осуществления Зикинген ожидает, как он это подробно высказывает Карлу и Гуттену, гибели и упадка, и значит к частичной рыцарско-лютеровской оппозиции это относится в такой же мере, как к княжеско-лютеровской. До какой степени Зикинген не вовлечен у меня сам в дворянское движение, до какой степени он только использует его, чтобы сделаться императором с помощью дворян и без их ведома и осуществить затем свои великие государственные планы, — об этом ведь свидетельствует каждое слово моей драмы. Никто из дворян не знает о его стремлениях к императорской короне, только Гуттену он говорит о них. Он созывает дворянство в Ландау в тот момент, когда собирается идти на Трир для осуществления своих целей. Даже в Ландау дворяне не узнают, за исключением всего нескольких доверенных лиц, что он собирается идти в Трир. Он возбуждает их в Ландау своими речами, заставляет их заключить союз, который по его расчету должен доставить ему Трир и императорскую корону, и эти господа кричат «да», ничего не зная ни о той, ни о другой его цели. Я умышленно не дал им слова и ни разу не вывел их на сцену до того, как Франц созвал их в Ландау. Я хотел изобразить их в виде партии, которую один Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях. До какой степени он властвует над ними, как мало их це-

нит и с каким превосходством командует ими, видно в четвертом акте, в момент прибытия герольда, и потом яснее всего после штурма, когда постепенно приходят известия о неудачах. Тогда они покидают его, но не вследствие сознания различия их внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности; и как единственный элемент, достаточно способный и сильный, чтобы быть носителем и проводником стремления Зикингена к императорской короне, изображается исключительно лишь крестьянство — в речах Валтасара, в крестьянской сцене, в согласии Гуттена с крестьянами, в упреках, которые Франц делает самому себе в монологах и сценах пятого акта, наконец в последней сцене между ними и Гуттеном... И то, что Зикинген не обратился с призывом к этому единственно сильному и имеющему будущность элементу, объявляется справедливой причиной его падения.

Так обстоит дело с «прославлением» «рыцарской» и «лютеровско-рыцарской» оппозиции!!!

И ты утверждаешь, что я сам до некоторой степени впал в дипломатическую ошибку Зикингена, поставивши лютеровско-рыцарскую оппозицию над плебейско-мюнцеровской?

Обожди, мой друг. Я построю свои основания в полном порядке:

1) Строго говоря, ваши замечания в этом отношении сводятся ни к чему иному, как к отведенному уже Платоном и Аристотелем упреку по адресу какой-либо трагедии, что не те или иные отдельные черты в ней плохи или ошибочны, но что это вообще не другая трагедия. Ваши упреки сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Томса Мюнцера» или какую-нибудь другую трагедию из эпохи крестьянских войн. Но я отнюдь не думаю ограничиться одним только этим ответом.

2) Если бы я написал «Томаса Мюнцера» или какую-нибудь другую крестьянскую трагедию, то даже в том случае, если бы это не было связано со всеми теми затруднениями, к которым я еще вернусь, я все-таки написал бы только трагедию определенной исторической, законченной и миновавшей для нас революции.

Не мог же я вложить в «Томаса Мюнцера» основную трагическую идею моей драмы, этот почти при каждой революции повторяющийся вечный конфликт. Каковы бы ни были причины гибели Мюнцера, он ведь во всяком случае погиб не оттого, что вел реалистическую дипломатию, а не апеллировал с непримиримым фанатизмом и с закрытыми глазами к самой крайней революционной позиции и к ее силе. Такого упрека Мюнцеру уж никак не сделаешь.

Я написал свою трагедию, как я уже сообщал тебе в моем письме, только для того, чтобы изобразить эту трагически-революционную основную идею. Следовательно я не мог выбрать Мюнцера. Ты сам говоришь, что «вполне одобряешь» эту трагическую идею, что она и есть та коллизия, от которой погибла также революция 1848 и 1849 гг. Не станешь ты отрицать и того, что для будущей революции та же самая коллизия снова явится опаснейшим подводным камнем, хотя и будем надеяться, что нам тогда удастся благополучно обойти его. Вот это-то вечно-современное в этом революционном конфликте и побудило меня написать мою драму. Не какую-нибудь определенную минувшую революцию, как таковую, хотел я изобразить, но глубочайший и вечно вновь повторяющийся конфликт революционного действия и его необходимость. Словом, я претендую на то, что написал трагедию формально-революционной идеи *par excellence*! И это ты называешь дипломатией? Дипломатия в том, что я как раз показал бессилие даже самой незаметной сделки, относящейся, казалось бы, вовсе даже не к цели, не к существу, а только к выполнению, к форме?

3) Наконец и крестьянские войны не таковы по своей природе, какими вы их повидимому считаете. Они наоборот а) не-революционны; б) и в конечном счете даже в высшей мере реакционны; ничуть не менее реакционны, чем исторический (не мой) Зикинген и историческая дворянская партия.

а) Не-революционны. Ведь крестьяне требовали от дворян лишь уничтожения злоупотреблений, а не уничтожения самих порядков. Чем тщательнее изучаешь крестьянские войны, тем яснее видишь это; и это не удивительно.

Идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы всей той эпохи, внести ее туда — значило бы поступить неисторично в худшем смысле этого слова. Но на основе движения, поднявшегося только для устранения злоупотреблений, а не на почве свободного правового принципа, можно было бы написать трагдию человечности, но не трагедию сознательного принципа. Указанный характер крестьянского движения проходит через все это движение и видоизменяется у Т. Мюнцера, проповедников и т. д. — словом, там, где присоединяется элемент религиозного фантазерства. Но работать над материалом религиозного фантазерства и относиться к нему положительно я не в силах совершенно. Тут уже мне милей любой, даже менее радикальный по своим лозунгам свободно человеческий пафос. Идеалистическое образование, которое я мог приписать Гуттену и Зикингену, сделав из него все выводы, казалось мне гораздо более удобным и по крайней мере не обоюдоострым материалом. Ибо единственное условие, при котором можно было бы согласиться написать драму «Мюнцер», — намерение показать, что движение Мюнцера гибнет как раз из-за своего религиозного характера, — это условие невыполнимо ни по существу, ни исторически.

б) И наконец меня удивляет, как могли вы не заметить, что крестьянская агитация в последнем счете была насквозь реакционна, столь же реакционна, как и историческая дворянская партия. Дело в следующем: крестьяне хотели исключить из имперского сейма всех князей лишь как промежуточную власть. Они хотели, чтобы в нем было представлено только дворянское землевладение наравне с крестьянским (князья должны быть представлены не как таковые, а лишь поскольку они являются вместе с тем дворянами-землеладельцами). Другими словами: определяющим политическим моментом является для них еще не субъект — это выходило за пределы той эпохи, — а частное землевладение. Оно одно считается правоспособным. На основе свободного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это была следовательно все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Имен-

но благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен. В своей политической позиции дворянство не только ничего не теряло от крестьянских планов, но даже выигрывало. А то, что оно теряло в своих доходах с крестьян от ограничения злоупотреблений, компенсировалось уничтожением ленных прав князей по отношению к дворянам. Отсюда тот факт, что многие дворяне и графы — и не все предательски или во всяком случае не сразу же предательски и вынужденно — сближались с крестьянским движением.

Эта-то архиреакционная идея служит в равной мере фундаментом для исторического Зикингена, для исторической дворянской партии и для крестьянского движения и общей исторически-оправданной и необходимой причиной гибели всех трех. Ибо в противоположность этой идее, которая основывает общественное право на частной земельной собственности и в ней одной усматривает источник всякой политической правоспособности, князья с их господством над не составлявшей их частную собственность и не полученной ими в лен землей были представителями впервые зарождавшегося политического, независимого от частного землевладения государственного принципа.

Отсюда победа князей как над дворянством, так и над крестьянами, и в этом же причина того, что города не должны были погибнуть.

Итак, с точки зрения неумолимой исторической критики, крестьянские движения этого времени столь же реакционны, как и дворянская партия. Это одна и та же идея. Если бы я писал критико-исторический трактат, я показал бы, что именно в этом причина гибели и дворянства, и крестьян. Но в художественном произведении, не говоря уже о трудности изложения таких мыслей в эстетической форме, это не могло бы возбудить особенного интереса к крестьянскому делу, а только весьма ослабило бы обычный интерес к нему. Таким образом крестьянские войны и т. д., использовать ли их в нашем или в моем смысле, должны оставаться в некотором полумраке, к ним нельзя подходить слишком близко. И я боюсь,

что еще одно обстоятельство должно сделать драму на сюжет крестьянских войн почти отталкивающим зрелищем. Я не говорю уже о той большой трудности, что здесь нет объединяющей индивидуальности. С этим еще можно было бы справиться. Но дело в том, что внешней причиной неудачи крестьянских войн было полнейшее равнодушие, с каким каждая кучка крестьян относилась к другой, их эгоизм, обособленность, беспримерная ограниченность.

Сущность немецкого мещанства можно изучать на крестьянских войнах в большом масштабе. Каждая кучка крестьян думает только о себе, и как только она сожжет замки в своем округе, ей уже абсолютно безразлично, что творится с крестьянами соседнего округа. Особенно величественным изображение этого самого скверного и узколобого эгоизма, этого полнейшего отсутствия всякого общественного чувства уж никак не могло бы стать!

Что же я сделал для изображения крестьянского движения при таком его не-революционном и даже прямо пассивно-реакционном характере и заслужил ли я упрек в том, что не обратил на него достаточного внимания?

Чтобы хотя бы только ввести это движение в мою пьесу, я смело допускал всяческие анахронизмы. У меня крестьяне встают или готовы к восстанию на 1½ года раньше, чем это было фактически, я воскресил Йосса Фритца, который умер или исчез за 8 лет до того, у меня Гуттен, вовсе не вернувшийся из Цюриха, приезжает в Германию, чтобы принять их предложение; крестьяне берут на себя в моей трагедии инициативу и предлагают Зикингену союз и восстание, — всего этого не было в действительности. Уже на одном этом основании я как будто мог считать, что сделал почти невозможное.

Но не то еще получится, если я спрошу, какую роль отвел я крестьянству по отношению к целому? С самого же начала все в драме рассчитано на крестьян. С самого начала слышны намеки на них сперва нарочно в очень слабых, потом постепенно во все более усиливающихся тонах, пока наконец могучие аккорды и оглушительный барабанный бой не возвещают о них, как о мессии, от которого одного только можно было ждать спасения и которого следовало призвать на помощь.

Первое упоминание о них происходит во втором акте в диалоге с Карлом, который показывает Францу объявление о крестьянском восстании и восклицает:

Как? Неужель мои дворяне могут
Забиться до того, чтоб с мужиком
Восстать против законного порядка, и т. д.

Так как ответ Франца перебивается императором, то зритель все еще остается пока в полном неведении. Далее, в третьем акте, Гуттен обращает внимание зрителя на крестьян и на свое отношение к ним:

На твой призыв крестьянская дружина
Вооружится в миг для новых битв,
Везде кругом насилие и гнет
Воспламеняют ненависть к дворянству,
Лишь ты один, и т. д.

Затем в Ландау Зикинген в своей речи все больше и больше обращает внимание дворянства на крестьян. Он говорит дворянству, что крестьянин ненавидит князей, а не их, не дворян (почему, я только что выяснил), упоминает о том, что крестьянин уже восстал однажды во время мятежа «бедного Конрада» против того же самого князя, против которого вслед затем должно было выступить и дворянство, и что уже в этом сказывается общность их судьбы. Более того: он открыто указывает на крестьянство как на ту силу, которая в свое время будет развязана и решит судьбу страны:

Когда по всей стране
Промчится фурия войны кровавой
И все расколет на два вражьих стана,
Тогда крестьянин мощною рукой,
Развязанной в последнюю минуту,
Решит исход чудовищной игры.
Решит судьбу Германии. Об этом
Подумай те!..

В четвертом акте — в Трире — появляется городской элемент. В пятом акте наконец раздаются мощные аккорды Вальтасара, который со всей силой ударяет по этой струне:

Страдает население, и т. д.

В крестьянстве бродит, и т. д.

На ваш призыв к крестьянам сотни тысяч

Поднимутся с оружием в руках.

Лишь вымолвите слово, и страна

Вам станет войском, вы стране — вождем!

И не успел Вальтасар убедить его, как в следующей сцене перед зрителем восстает в живом и развернутом виде то, о чем прежде только возвещалось. Это только одна сцена, но в эту сцену я вложил всю силу пластики, какая только у меня есть, при чем охотно признаю, что у меня ее не так уж много. И может быть потому, что эта сцена единственная, она должна тем сильнее выделяться и производить тем большее впечатление. Если до сих пор о крестьянстве говорилось лишь как об элементе, который еще только должны поднять официальные вожди движения, как о подходящем материале, оживить который может лишь инициатива этих вождей, — то теперь эта иллюзия сразу исчезает. Крестьяне выступают как внутренне-организованная и готовая к бою сила, твердо сплоченная и способная ударить на врага. Теперь оказывается, что тогда как везде были только планы, колебания и половинчатость, здесь и только здесь была действенность и сила. Предоставленное исключительно самому себе, совершенно оторванное от всех официальных элементов движения, действуя исключительно от себя и в себе крестьянское движение стоит во всеоружии, в любой момент готовое к удару. Набросанная Йоссом Фритцем картина крестьянской войны с изображением ее могущественных ресурсов должна произвести огромное впечатление уверенной в себе силы, как в ней и действительно предвосхищена и заранее показана одна из самых великих сторон крестьянской войны. Не от Франца исходит призыв к крестьянам, а от крестьян — призыв к нему, от них исходит инициатива движения. И сейчас же все

меняется. Гуттен увлечен, дает согласие на все и не только принимает предложение — что в данный момент психологически весьма понятно, ибо, как бы он ни отнесся к предложению крестьян в другое время, в том отчаянном положении, в котором Франц оказался теперь, ни Гуттен, ни Франц не могли от него отказаться, — но мало того: Гуттен даже становится из вождя ведомым, духовное руководство переходит от него к Йоссу Фритцу. Словом, эта сцена должна произвести самое сильное и благоприятное для крестьян впечатление, и отчасти именно потому, что она появляется сразу, без всякой подготовки, что мы внезапно видим здесь совершившимся то, возникновение чего было от нас сокрыто. Предсказания Валтасара не только осуществляются в этой сцене, но оказываются превзойденными действительностью в тысячу раз. Далее идут те сцены, в которых Франц, все настойчивей и все глубже упрекающий себя в том, что он не сразу же апеллировал к революции, как таковой, к крестьянину, решается на отчаянный искупительный подвиг. Его слова: «иду, Германия» истощающе разъясняются в сцене с Валтасаром и в сцене между крестьянами и Гуттеном в том смысле, что эта Германия есть не какая-нибудь другая, а именно крестьянская Германия. Он хочет пробиться вперед, хочет броситься без оглядки в объятия крестьянства, делать с ним общее дело и получить от него ту силу, которую он искал повсюду, только не у крестьян, и повсюду, несмотря на всю вероятность успеха, совершенно тщетно. Но его попытка срывается, и еще раз в разговоре Гуттена с Францем крестьянское восстание изображается как осуществление и завершение всего, как такой момент, который ставит вверх ногами все положение; в кратких чертах изображаются его огромное могущество, сила его размаха, безусловная достоверность победы в союзе с ним:

Пора! За меч хватается крестьянин,
Зовет тебя в вожди. Я здесь стою
Его посланником. Скажи лишь слово,
И сотни тысяч встанут как один, и т. д.

Это национальное движение описывается как «великий поток», в котором княжеские войска захлебываются подобно «нескольким утопающим в открытом море». Но уже слишком поздно. Франц

умирает. Гуттен убит горем. Но он еще раз показывает в перспективе судьбу крестьянской войны. Дворянство и города трусливо и малодушно отступают:

Один крестьянин верен славной цели:
За меч берется он — но без друзей
Ему не сдобровать, в кровавой бойне
Он будет уничтожен и покроет
Родную землю грудой страшных трупов.

.
И в черном мраке наступившей ночи
Затмится будущность родной страны.

Таким образом все симпатии сосредоточиваются в конце концов на крестьянском восстании, и его неудача изображается как несчастье Германии и как несчастье, в котором сами крестьяне не повинны, как следствие их изолированности, вызванной тем, что только они одни были способны действовать. Франц и Гуттен погибают оттого, что они не апеллировали вовремя к крестьянскому восстанию как к единственному законному и победоносному носителю революции, и вся пьеса, все время возвещающая о нем как об осуществителе и завершителе данной ситуации и революционного переворота, относится к нему примерно так, как Иоанн к Христу! Но это такой Христос, которого нельзя рассматривать вблизи или разве только в колыбели, если желаешь сохранить о нем эстетическую иллюзию, как это и было возможно именно при моем способе изображения, при котором все сочувствие, вся правда, вся любовь сосредоточиваются на крестьянском восстании.

Поэтому, мой дорогой друг, я считаю в высшей степени несправедливым твое замечание, будто я отвел слишком мало места крестьянскому восстанию и из «дипломатических» соображений поставил рыцарско-лютеровскую оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской»; это было у тебя, надеюсь, лишь мимолетным впечатлением. Хотя я отлично знаю, что вы люди, критику которых нельзя объяснить лишь впечатлениями, вынесенными из моей пьесы, но я все же не считаю вполне исключенным, что как раз моя трагедия, сосредоточивая все значение и все сочувствие на мессии крестьянского восстания, этим-то своим отно-

шением к нему и вызвала в вас такое чувство, будто для его прославления сделано все-таки слишком мало. (Все другие «Францы фон Зикингены», появившиеся до сих пор, не упоминают даже вскользь ни единым словом о крестьянском восстании.) И поэтому если б хоть тысячную долю вашего возмущения можно было приписать благоприятному для крестьян впечатлению от моей драмы, то я мог бы поздравить себя и счесть свою цель достигнутой.

Итак, более благоприятной идейной роли, чем какую я отвел крестьянскому восстанию в моей драме в целом, я не мог ему отвести. Если вы думаете, что из этой стихии можно было бы почерпнуть еще много благодарных сцен для драматического оживления трагедии, то это другое дело, и тут я вполне согласен с вами. Но от этого идейное положение крестьянства в составе целого нисколько бы не изменилось. С другой стороны, драма уже и так чрезмерно длинна. Какие-то границы надо было ей поставить. Я собирался написать пролог, в котором должны были выступать ландскнехты, крестьяне, нищие, начальники отрядов. Но так как трагедия и без того уже несуразно длинна, то я отказался от этого. Иначе мне пришлось бы выпустить некоторые уже написанные сцены, а я не мог найти ни одной лишней. К тому же, прибавивши такой пролог, я ослабил бы пожалуй впечатление, производимое крестьянской сценой в пятом акте. Всякая предыдущая крестьянская сцена служила бы для нее посредствующим звеном, а между тем именно в ее непосредственной внезапности и заключается, как мне кажется, один из главных моментов производимого ею трагического впечатления.

Но довольно об этом! Простите мне мое многословие. Ни разу еще я не написал письма, столь же скучного, растянутого, настолько лишенного всякого стиля и всякой четкости. Это произошло оттого, что меня все время прерывали на каждой фразе, и моя голова занята другим. Но все-таки главное сказано, и мысль, хоть и растянуто, но выражена.

Впрочем вы не будете удивляться этому длинному посланию. Ведь вы единственные люди, похвалы и порицания которых серьезно меня затрагивают. Если вы напишете мне, что я убедил вас в том или ином пункте, это будет для меня истинной

Aufweis angemerkt: 1. In der Briefliche Anzeige
 auf der Karte sei auf ein abgebrochenes
 Stückchen zehnfache Aufsicht in der Mitte in der
 Mittelstange. Dann ist ein abgebrochenes, zehnfache
 auf einer in einem kleinen Haken, zehnfache
 P. J. In der Aufsicht der Karte, habes keine. In der Aufsicht
 der Karte sei abgebrochen, das abgebrochenen

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА
ЛАССАЛЯ К МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ
от 27 МАЯ 1859 г.

радостью. Но я отнюдь не требую ответа, потому что не хочу мучить вас своей драмой больше, чем это необходимо, и думаю, что с вас достаточно и того, что придется прочесть это послание.

Теперь о другом. Вы вероятно получили мою брошюру «Ита-льянская война и задача Пруссии, голос демократа». Не знаю, читаете ли вы там у себя немецкие газеты в достаточном количестве, чтобы быть хоть приблизительно в курсе здешних на-строений.

Абсолютное францужоество, французо фоб-ство (Наполеон только предлог, подлинная же тай-ная причина в революционном развитии Франции) — вот тот рог, в который трубят все здешние газеты, и та страсть, кото-рую они стараются, к сожалению довольно успешно, разжечь в сердце низших классов народа и демократических кругов, играя на национальной струнке. Насколько полезна бы-ла бы для нашего революционного развития начатая правитель-ством против воли народа война с Францией, настолько же вредно должна была бы отразиться на нашем демократическом развитии война, популярная среди ослепленного на-рода. К изложенным мною в шестой главе моей брошюры соображе-ниям на этот счет присоединяется еще то, что трещина, отделя-ющая нас от наших правительств, уже сейчас совершенно зара-стает.

Против угрозы такого бедствия я счел нужным выступить со всей энергией. Я написал свою брошюру в тоне партийного манифеста и жажду услышать, согласна ли с ней партия. Напи-шите же мне ваше мнение. Разумеется я ни на одну секунду не поддаюсь иллюзии, будто правительство может пойти и пойдет по пути, указанному в гл. VII. Наоборот! Мой собственный взгляд выражен достаточно ясно в следующей фразе: «тогда было бы лишь еще раз доказано, что монархия в Германии уже не способна более на национальное дело». Но именно поэтому-то я испытывал особенную потребность сделать это предложе-ние, ибо оно тотчас же превращается в упрек. Оно может подействовать подобно ледолому, о который начнут разбиваться волны этой фальшивой популярности.

Просьбу Энгельса по поводу его брошюры я смогу исполнить только завтра, потому что только завтра вернется из Лейпцига его издатель.

Относительно политических тезисов его письма я замечу: я вполне согласен с ним, что прусскую Польшу следует считать германизованной и стало быть удерживать за собой. Но если его фраза о Венгрии, допускающая двоякое толкование, означает, что Венгрия должна остаться под немецким владычеством, то с этим я не согласен. Я это не считаю ни возможным, ни необходимым, ни полезным. Но весьма важно и очень хорошо, что в виду ее положения перед лицом варварского славянства ей приходится рассчитывать на нас и на нашу помощь.

Ты, Маркс, еще не ответил мне на мое последнее письмо. В скором времени выйдет твоя книга, которую я жду со жгучим нетерпением.

Прощайте. Salut!

Ваш Лассаль.

Еще одно замечание: я выпустил брошюру анонимно, чтобы не отпугнуть сразу же средние круги и дать им отнестись к ней по возможности непредвзято. Но если потребуются второе издание, то она выйдет уже под моим именем.

P. S. Через три дня выйдет твоя книга, дорогой Маркс; ты поставил меня в очень неудобное положение, написав книгоиздателю о систематической проволочке, тогда как промедление, которого конечно нельзя отрицать, вызвано отчасти ограниченностью его технических средств, отчасти же его природной медлительностью, но намерения его — самые лучшие. Ведь ты можешь мне поверить, что я не отдал бы твое сочинение издателю, который «преднамеренно» замедляет печатание. Этот человек, взявшийся за издание по своей доброй воле, был столь же удивлен, как и оскорблен, когда узнал о подобных нареканиях с твоей стороны.

Да не будет для вас слишком тяжела жестокая необходимость прочесть все это! Мазня моя расплзлась оттого, что у меня не было времени сначала подумать, а потом уж написать. Но прошу вас прочесть все: это для меня очень важно.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС В ПОЛЕМИКЕ С ЛАССАЛЕМ ПО ПОВОДУ «ЗИКИНГЕНА»

1

С опубликованием неизданных писем и сочинений Лассалля появился новый материал, очень важный для правильной оценки отношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем; в третьем томе этого издания¹ напечатаны письма Маркса и Энгельса к Лассалю, между тем как Мерино мог опубликовать (в четвертом томе изданного им «Nachlass») почти одни только письма Лассалля. Дальнейшим расширением материала мы обязаны главным образом тому, что относящиеся к Лассалю места, опущенные Бернштейном, опубликованы теперь в новом издании переписки Маркса и Энгельса (Gesamtausgabe, III Abteilung; русское издание переписки, тт. XXI—XXIV). Попытка общего разбора опубликованных Майером материалов была сделана в свое время автором этих строк (после появления четвертого тома шеститомного издания) в «Crünbergs Archiv» (11-й год издания). Если теперь мы позволим себе остановиться на специальной теме, и притом несущей, казалось бы, чисто эпизодический характер, то лишь вследствие убеждения, что некоторые принципиальные разногласия между Марксом-Энгельсом и Лассалем нашли здесь еще более четкое выражение, чем в других дискуссиях между ними, а, с другой стороны, потому, что эта дискуссия дала повод Марксу и Энгельсу высказаться об искусстве, в отношении которого их взгляды изучены и оценены еще далеко не полно.

Внимательный подход Маркса к проблемам эстетики и искусства общеизвестен. Как бы ни решила филологическая критика вопроса о его участии в работе над второй частью «Розауна»², письма Маркса, относящиеся к этому периоду, свидетельствуют об очень глубоком интересе к эстетическим проблемам. Но несомненно, что Маркс продолжал интересоваться ими и позднее. То, например, как он через несколько лет после дискуссии о «Зикингене» подходит к французским драматургам эпохи Людовика XIV в своих письмах, посвященных критике лассалевской «Системы приобретенных прав»³, показывает, что он всегда сохранял глубокий теоретический и исторический интерес к вопросам литературы и искусства. Это особенно ясно по отношению к занимающему нас периоду. Переписка по поводу «Зикингена» относится ко времени от марта до мая 1859 г.⁴ Это время непосредственно

следует за окончанием «К критике политической экономии»; фрагментарное введение к этой книге, опубликованное позже, содержит в себе одно из наиболее подробных изложений эстетических взглядов Маркса позднейшего периода. Укажем далее, что имеются очень подробные выдержки Маркса из «Эстетики» Ф.-Т. Фишера от 1857—1858 гг., тоже свидетельствующие об усердных занятиях Маркса эстетическими вопросами как раз в это же самое время⁵.

Поэтому, с каким бы раздражением ни писал Маркс Энгельсу в последнем из вышеупомянутых писем по поводу второго лассалевского письма о «Зикингене» («непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только сам находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть все это»), это замечание, как выяснится из дальнейшего, относится отнюдь не к занятиям Лассалья эстетическими вопросами. Оно объясняется вероятно тем, что Маркс считал всякий дальнейший спор с Лассалем совершенно бесплодным и бесцельным, ибо во всех важных политических и исторических вопросах, так же как и в вопросах мировоззрения, обсуждавшихся в этом споре, Лассаль не поддавался никаким аргументам. В течение спора весьма опасные следствия из его позиции обнаружались даже еще более ясно, чем прежде. Правда, это произошло отнюдь не впервые. Но разница в тоне между довольно сердечными — несмотря на весьма резкую критику — первыми ответными письмами Маркса и Энгельса по поводу «Зикингена» (написанными гораздо менее «дипломатично», чем предыдущее письмо Маркса — от 31 мая 1858 г. — о «Гераклите») и между только что приведенным замечанием настолько велика, что стоит остановиться на вопросе об ее причине и о роли всей дискуссии в истории отношений между Марксом и Лассалем.

Все изложенное вполне оправдывает, думается нам, наше намерение заняться несколько подробнее данными письмами, при чем в центре нашего внимания должна быть разумеется связь эстетической стороны спора с разногласиями в области политики и общего мировоззрения. Систематическое исследование эстетических взглядов зрелого Маркса выходит за пределы нашей темы не потому, что они не имеют значения, а наоборот потому, что вопрос этот еще слишком мало изучен. До сих пор у нас нет даже систематической сводки всех высказываний Маркса и Энгельса на эту тему; не исследована внутренняя связь этих высказываний и их место в мировоззрении Маркса. Мы не можем предвосхищать этих необходимых исследова-

ний, которые должны быть произведены на основе опубликованных и неопубликованных материалов, и в дальнейшем будем привлекать общезстетические воззрения Маркса и Энгельса лишь в той мере, в какой это безусловно необходимо для нашей более узкой темы.

6 марта 1859 г. Лассаль послал Марксу и Энгельсу своего «Зикингена» с предисловием и рукописью о трагической идее в этом произведении. Оба документа содержали в себе программное изложение взглядов Лассаля. Первый документ — предназначенное для печати предисловие — выдвигает на первый план эстетическую проблему и рассматривает лежащий в основе драмы историко-политический вопрос только как материал. Второй документ — рукопись, предназначавшаяся Лассалем для более близких друзей, — уже не ограничивается осторожными, дипломатическими формулировками политико-исторических проблем, а энергично выдвигает их в центр внимания и обсуждает эстетические вопросы (о трагическом, о форме драмы) лишь в связи с этими проблемами.

«Зикинген» Лассаля должен был быть, согласно мысли автора, трагедией революции. Трагический конфликт, лежащий, по мнению Лассаля, в основе всякой революции, состоит в противоречии между «воодушевлением», «непосредственным доверием идеи к своей собственной мощи и бесконечности», с одной стороны, и необходимостью «реальной политики» — с другой. Лассаль умышленно формулирует этот вопрос сразу же в возможно более абстрактном виде, но тем самым он сразу же дает ему — без умысла — и своеобразную постановку по существу. В самом деле, задача «реальной политики» — «считаться с данными конечными средствами» — приобретает у него следующее содержание: «скрывать... от других подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов (разрядка наша. — Г. Л.), более того — посредством их использования приобрести возможность организовать новые силы». Соответственно этому и противоположный полюс — революционное воодушевление — неизбежно получает столь же абстрактную и столь же своеобразную формулировку, будучи противопоставлено расчетливости ума. О «расчетливость» разбилось большинство революций, а разгадка силы «крайних партий» заключается именно в том, что они «отбрасывают в сторону рассудок». Положение таково, «словно есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным умом с его расчетливостью».

Это вечное, объективное, диалектическое противоречие лежало, по мнению

Лассалья, также в основе революции 1848 г., и именно это противоречие он хочет изобразить в своей драме. Перед нами таким образом — трагедия революции. «Трагическая коллизия» является здесь «формальной», как Лассаль полемически заостряет вопрос против Маркса и Энгельса в своем втором письме, — это «не специфически свойственная какой-либо определенной революции, но постоянно повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой революционной ситуации, бывшая налицо как в 1848 и 1849 гг., так и в 1792 г.⁶, и т. д.». Отсюда вытекает противоречие между целью и средством, неминуемо приводящее к трагедии этот тип изображенного Лассалем революционера; революционный деятель «становится на точку зрения противника и таким образом уж признает свое теоретическое поражение». Усмотренное Аристотелем и Гегелем диалектическое единство цели и средства оказывается разорванным, но «всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революционные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами». Рассудок, дипломатические расчеты должны в революции потерпеть крушение. «Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников».

Из такого понимания революции вытекает все воззрение Лассалья на трагическое, на форму и стиль драмы и т. д. Само это понимание, изложенное нами здесь по возможности в формулировках самого Лассалья, имеет свой классовый фундамент в той самокритике, которой могла и должна была подвергнуть себя крайняя левая буржуазной демократии на основе опыта 1848—1849 гг. Лассаль, впадающий здесь в спекулятивный самообман, будто им найден внутренний конфликт революции вообще, становится рупором того очень узкого крайне левого крыла немецкой буржуазной демократии, которое надеялось создать единый буржуазно-пролетарский демократический фронт против «сил старого» и с его помощью провести до конца радикальную буржуазную революцию. Эта тенденция, которая, впрочем, как мы покажем в дальнейшем, сразу же перекрещивается у Лассалья с другими противоположными тенденциями, составляет основу его «Системы приобретенных прав» и является тем мотивом, который привлекал к Лассалю убежденных демократов 1848 г. вроде Франца Циглера; разочарование в

возможности осуществить эту тенденцию явилось основным мотивом его позднейшего «тори-чартизма», его ожесточенной и «односторонней» борьбы против промышленной буржуазии без соответствующей борьбы с полуфеодалным землевладением и его политическими выразителями в Пруссии, более того: в союзе с ними. Короче говоря, согласно этому взгляду, революция 1848—1849 гг. разбилась о «расчетливость», о «дипломатию», о «государственную позицию вождей»: В «Зикингене» Лассаль ставит себе целью выразить в образах трагизм этого крушения как трагизм всех революций вообще.

Этой историко-философской и политической постановкой вопроса обусловлены эстетические проблемы «Зикингена», его исключительное положение в развитии современной драмы. Лассаль стоит, правда, во многих важных эстетических вопросах целиком на той же почве, что и современная ему немецкая драма и ее теория (под сильным влиянием идеалистической философии от Канта до Гегеля). И он сам вполне сознает эту связь. В предисловии к «Зикингену» он ясно высказывается по этому поводу: «Шаг вперед, сделанный немецкой драмой в лице Шиллера и Гете по сравнению с Шекспиром, я усматриваю в том, что ими, в особенности Шиллером, впервые была создана историческая драма в собственном смысле слова⁷. Он ищет следовательно, правда в противоречии с самим Гегелем, но в широком согласии с эстетиками и поэтами послегегелевского периода, такой тип драмы, который мог бы существовать как самостоятельная форма наряду с античной трагедией и с Шекспиром, образующим у Гегеля завершение «нового» типа в противоположность античному, и явился бы до известной степени третьим периодом, выводящим за пределы античности и Шекспира⁸. Это новое в начатом Шиллером развитии сам Лассаль усматривает в том, что «подобная трагедия имеет дело уже не с индивидами, как таковыми, являющимися здесь лишь носителями и воплощениями глубочайших внутренних борений всеобщего духа, а только... с судьбами, решающими вопрос о радостях и горестях всеобщего духа»⁹. Однако дальнейшее развитие должно перерастить Шиллера, ибо «у самого Шиллера великие конфликты исторического духа составляют только почву, на которой разворачивается трагический конфликт. Подлинным драматическим действием, выделяющимся на этом историческом фоне, душою драматического действия остается... чисто индивидуальная судьба»¹⁰.

Связь этих мыслей с общим развитием класса буржуазии, в частности с развитием проблем классической немецкой философии, слишком очевидна и общеизвестна, чтобы на ней стоило подробно останавливаться. Нужно



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии
(конца 50-х годов), хранящейся
в Музее Маркса-Энгельса-Ленина

только подчеркнуть, что лассалевская постановка вопроса в решающих пунктах существенно отличается от позиции его современников, участвовавших более или менее сознательно, хотя и с различных классовых точек зрения, в процессе разложения гегельянства. Все эти мыслители и поэты 1840—1850 гг. стремятся идейно постигнуть или поэтически изобразить происхождение в развитие буржуазного общества, примирить в системе (или в художественном произведении) те противоречия, которые вызываются экономическим развитием, но не постигаются ими, как таковые. Мы подчеркиваем важность категории «примирения» не только потому, что она была уже у самого Гегеля главным источником внутренних противоречий системы, противоречий, которые не могли быть разрешены и послегегелевскими буржуазными мыслителями, а лишь еще сильнее обострялись при всякой попытке их разрешения, вызывая рецидивы эмпиризма, субъективного идеализма, эклектизма, релятивизма и т. д., — но главным образом потому, что здесь ясно обнаруживается классовый смысл всей этой эстетической постановки вопроса. Он обнаруживается в том, что обе антиномии, стоявшие перед новыми драматургами и эстетиками, — антиномия свободы и необходимости, с одной стороны, и индивида и общества, с другой, — что эти антиномии, возросшее значение и конкретное содержание которых имеют социальное происхождение, мистифицируются здесь, превращаясь во «вневременные» проблемы, и получают «разрешение», не затрагивающее основ буржуазного общества. Все споры, которые велись вокруг Гегеля и после Гегеля по вопросу о «трагической» вине, вращаются в конечном счете вокруг этого вопроса, и ответ на него, определяющий структуру, стиль и т. д. трагедии освещает ярче всего классовую позицию того или другого мыслителя. Сам Гегель, у которого, с одной стороны, совершенно ясно (хотя и в извращенной идеалистической формулировке) выступают внутренние противоречия классового развития буржуазии, но который, с другой стороны, самым решительным образом одобряет это развитие, и именно в форме утверждения конкретной современности, — сам Гегель весьма энергично устраняет всю проблему «вины-невиновности». Необходимо «отбросить ложное представление о вине и невиновности». С точки зрения свободы воли, с той точки зрения, имели ли герои трагедии возможность выбирать, они невиновны. Их необходимость, их пафос толкнул их на «дела, составляющие их вину. Быть неповинными в этих делах они вовсе не желают. Наоборот, они гордятся тем, что их дела действительно содеяны ими. Слава великих характеров в том, что они виновны»¹¹. Правда, это воззрение — связь которого с гегелевской философией истории вполне оче-

видна — ориентируется на греческую трагедию (в «Феноменологии» еще определеннее и яснее, чем в самой «Эстетике»). Однако место, которое Гегель отводит искусству в общем развитии, таково, что все новое искусство, даже и «романтическое», является для него разложением искусства, снятием идеи искусства в религии или философии¹². Проблема вины, проблема свободы необходимости и т. д. в новой поэзии тоже выступают таким образом в эстетике Гегеля как формы разложения первоначального, классического, греческого подхода; действительно адекватные формулировки вопросов, объективно лежащих, по Гегелю, в основе этих эстетических проблем, Гегель может поэтому дать только в своей философии истории и философии права.

Послегегелевская буржуазная эстетика исходит в этом вопросе из противоположной точки зрения: ее стремление сводится как раз к оправданию специфически современной, новой поэзии. Это приводит к глубокой перестройке гегелевских формулировок, ибо хотя замысел новой эстетики историчен, — он заключается в более или менее сознательном разрыве с гегелевским «концом истории», — однако конкретная ее разработка состоит как раз в поисках и мнимом нахождении таких категорий, которые в определенных вариациях были бы приложимы ко всем периодам истории искусства. Если гегелевские теории были по существу мысленными выражениями определенной исторической эпохи (в «Феноменологии» это выступает яснее, чем в «Эстетике») и если они поэтому несут на себе откровенно выступающую печать существенных особенностей этой эпохи, то путь послегегелевской эстетики ведет к формалистическому пониманию эстетических проблем. Свобода вообще противопоставляется необходимости вообще, положение человека в истории, индивида в обществе и т. д. рассматривается абстрактно. В результате принципы, еще кое-как спаянные у Гегеля, неудержимо распадаются. То обстоятельство, что послегегелевской эстетике присуще как преувеличенное тяготение к принципу определенного исторического содержания (положительное восприятие специфически нового), так и не менее преувеличенное подчеркивание формалистического принципа (сверхисторические категории, одинаково объемлющие все периоды и формы), приводит к тому что и при обработке частных диалектически-полярных категорий противопоставляются друг другу столь же резко, односторонне и непримиримо. Методологически возникает двойственность абстрактного формализма и эмпирического позитивизма. В занимающем нас частном случае, в области драмы, одни возводят необходимость в граничащую с мистицизмом, часто даже (например у Геббеля)

прямо впадающую в мистицизм абстрактность, тогда как у других индивидуализация доводится до жанровых или до патологических черт. Разорванную таким образом связь приходится затем восстанавливать сложными, надуманными или мистифицирующими средствами. Диалектическое единство свободы и необходимости, их необходимое совместное движение в движущемся противоречии, часто (хотя и на идеалистической основе) встречавшееся у Гегеля, пропадает совершенно, заменяясь этикой, психологией и т. д.

В основе всей этой перемены в постановке эстетических вопросов лежит необходимость определить свое отношение к революции как к надвигающейся актуальной проблеме. Гегель мог трактовать революцию — Великую французскую революцию — как предпосылку современности (революция 1830 г. уже не могла оказать решающего влияния на его мировоззрение). Он был поэтому в состоянии по-своему конкретно говорить о тех коллизиях, которые вызывают революции и вызываются ими; это позволяло ему рассматривать примирение, взаимное упразднение противоречащих принципов как определенное «мировое состояние»¹³. Он мог, таким образом, соединить признание минувшей революции с утверждением существующего порядка. На анализе внутренних противоречий в позиции самого Гегеля мы не можем здесь останавливаться. Совсем иное дело, когда революция стоит перед мыслителями и поэтами как актуальная, современная проблема. Так как вопрос поставлен теперь исторически-конкретно, то всякая абстракция в методологическом подходе к отдельным вопросам и в ответе на них является уклонением от конкретно-исторической проблемы и тем в большей степени, чем конкретнее поставлен вопрос. Яснее всего это сказывается на Ф.-Т. Фишере — крупнейшем эстетике послегегелевского периода. Правда, когда Фишер усматривает в революции подлинную тему трагедии¹⁴, то это несомненный шаг вперед по сравнению с Гегелем. Но тотчас же делается допытное движение, и Фишер даже нисходит на догегелевскую ступень, заявляя, что под революцией он разумеет «постоянную противоположность свободного движения вперед и необходимо существующего порядка, юношеского натиска и задерживающего отпора». В результате такого определения Антигона, Тассо, Валленштейн, Гец одинаково попадают у него в разряд «революционеров»: всякое восстание против «существующего» относится к категории «революции», даже когда оно исходит из принципов «старого» (Антигона, Гец). С другой стороны, именно такое слишком абстрактное понимание проблемы вынуждает Фишера разоблачить свое умеренно-либеральное серд-

це. Он говорит: при столкновении двух принципов «более глубокая правота на первой стороне (на стороне нового), ибо нравственная идея есть абсолютное движение». Но однако «и существующее имеет свою правоту. Истина лежит посредине... Лишь далекое будущее принесет подлинное примирение». Если в 40-х годах, когда эта теория возникла, она носила еще характер хоть и умеренной, но все же буржуазно-революционной позиции, то в своем дальнейшем конкретном развитии, пришедшемся на период после 1848 г., она уже превращается в попытку чисто эстетического оправдания «современной» поэзии, при чем формально-эстетический момент приобретает решающее значение и буржуазно-революционный принцип целиком растворяется в умеренном либерализме. Корни этого превращения были разумеется заложены уже в первоначальной формулировке теории¹⁵. Еще резче проявляется реакционное классовое содержание формалистического понятия революции у крупнейшего драматурга этого времени, у Геббеля¹⁶. Если, согласно его теории, трагедия, и в особенности современная трагедия, имеет своей задачей изображение «родовых мук борющегося за новую форму человечества», то содержанием и целью этого изображения оказывается следующее: «драматическое искусство должно способствовать завершению всемирно-исторического процесса, который происходит в наши дни и который стремится не низвергнуть, а глубже обосновать и следовательно предохранить от разгрома существующие учреждения человечества — политические, религиозные и нравственные»¹⁷.

Таковы самые общие эстетико-философские черты тех литературных течений, к которым примыкает лассалевский «Зикинген». Если мы выше отметили, что драма Лассалья стоит, с одной стороны, по своим существенным признакам на почве этих течений, а с другой — занимает по отношению к ним совершенно своеобразную, исключительную позицию, то это лишь кажущееся противоречие. Лассаль разделяет с этими течениями постановку проблемы, исходный пункт, и в целом ряде решающих методологических вопросов он едва ли идет дальше них (как мы увидим, он скорее даже примыкает к более старым течениям), но от всех остальных он отличается тем, что пытается вложить в формальное понятие революции как основы современной трагедии революционный смысл, т. е. в борьбе «старого» и «нового» он безоговорочно становится на сторону нового. Это вносит ряд изменений в постановку проблемы, но так как основа всей этой постановки не пересматривается Лассалем, то в результате у него получаются лишь еще более резкие противоречия, чем у других. В самом деле: подчеркивание превосходства «нового» («рево-

люционного принципа») не только перед лицом всемирно-исторической идеи, как это мы имеем у Фишера, но также перед лицом «эстетической идеи» драмы, и вытекающее отсюда центральное положение «революционного принципа» в эстетическом мировоззрении Лассалля приводит его к попытке дать более конкретное изображение общественных пружин трагической борьбы, чем это делают его современники, которые в очень абстрактной форме или в мистифицированной конкретности могли удовлетворяться «существующим». Но, с другой стороны, благодаря этой же самой тенденции он должен был видеть и изображать в более конкретно схваченных людях и общественных отношениях лишь носителей, представителей и выразителей «всемирно-исторической идеи». Это противоречие превращается у Лассалля в абстрактную антиномию, ибо он хочет в конкретные отношения внести «идею революции вообще» и одновременно полагает и упраздняет их конкретность. Одушеваемый революционным порывом своей исходной точки зрения, Лассаль испытывает справедливую антипатию к драматическому жанру своего времени, к «подробному углублению в безыдейную и пустую особенность случайного характера», но он отнюдь не спасается от грозящего ему, как он сам это видит, «подводного камня» «абстрактной и ученой поэзии», усматривая историческое «вовсе не в историческом материале» самом по себе, а в том, что на этом материале «развертывается... глубочайшая всемирно-историческая идея и идейная коллизия переломной эпохи»¹⁸.

И поэтому Лассаль, несмотря на его уже упомянутые выше оговорки, возвращается к Шиллеру. Так как при своей исходной точке зрения он никак не мог воспринять единство всеобщего и частного в образах и фабуле как единство индивида и класса, единство судьбы отдельной личности и исторической классовой судьбы, то ему оставалось только попытаться преодолеть неразрешенную антиномию единичного и всеобщего с помощью исторически-этического пафоса. Такого рода преодоление, т. е. возврат к шиллеровскому пафосу маркиза Позы, при всем его превосходстве над мистифицирующей психологией реакционных современников Лассалля, не может однако дать реальное оформление даже буржуазно-революционным конфликтам. Не случайно, что стиль этот возник не на почве самой буржуазной революции, т. е. во Франции или в Англии, а на почве ее эстетического отражения в Германии. Он с самого начала оформляет великие исторические антагонизмы в виде словесных поединков руководящих «всемирно-исторических личностей», чьей «волей», «решением» и т. д. якобы определяется судьба дальнейшего развития. Таким образом на выработку этого стиля —

Franz von Sickingen.

Eine historische Tragödie

von

Ferdinand Lassalle.

Die höchste Macht der Begünstigung stand
Gionas tituli doch der Pötte gegeben.

A. von Humboldt.

Berlin.

Verlag von Franz Duncker.

(W. Veit's Verlagshandlung.)

1859.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ
«ФРАНЦ ФОН ЗИККИНГЕН»

С экземпляра, хранящегося
в библиотеке Института
Маркса-Энгельса-Ленина

у Шиллера это особенно ясно видно в «период маркиза Позы» — по меньшей мере сильно повлияло представление о «революции сверху», о «просвещенном монархе». Впрочем стилистический возврат Лассалья к Шиллеру носит не только формальный характер, вопреки иллюзии самого Лассалья. На самом деле во всей фабуле «Зикингена» и во всей исторической концепции его автора имеются элементы такого расчета на «революцию сверху». В решающей сцене второго акта между Зикингеном и императором Карлом V мы видим попытку Зикингена привлечь императора к своим целям, при чем в результате этой сцены, формально напоминающей диалог между Позой и Филиппом, оказывается, что цель Зикингена — убедить Карла произвести в Германии революцию «английского» типа. Правда, Лассаль стоит выше иллюзии своего героя или по крайней мере воображает, что стоит выше подобных иллюзий. Ведь «трагическую вину» своего героя он усматривает как раз в этом «лукавстве» по отношению к «идее революции». Но самообман Лассалья обнаруживается именно в том, что он видит здесь по-шиллеровски «трагическую вину». Лассаль исходит не из объективно-классовых условий; так например, характер Зикингена складывается у него не как характер представителя определенного класса — объективно-классовые условия служат только фоном, на котором должна выделиться диалектика «идеи революции». Благодаря этому характеры драмы приобретают «свободу». Подобно тому как они могут теперь лишь риторически излагать свои «идеи» в диалогах и не выражать их своими действиями, так и их связи друг с другом, со своим классом, с фабулой становятся «свободными» деяниями — предметами этики. Лассаль вынужден таким образом вернуться от Гегеля к «трагической вине» Аристотеля¹⁹. Защищая образ Зикингена, Лассаль старается доказать, что «вина» Зикингена не просто «интеллектуальное заблуждение», но вместе с тем и нравственная вина — нравственная вина в самом интеллектуальном заблуждении, «ибо она возникает из недостатка доверия к нравственной идее и к ее в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам».

Связь между эстетической и драматически-композиционной проблемой «трагической вины», а также шиллеровским этико-риторическим стилем, с одной стороны, и абстрактно и именно поэтому морально, а не политически поставленным вопросом о «реальной политике» и «компромиссах» — с другой, совершенно очевидна. Тем, что Лассаль ставит вопрос о «реальной политике» и «компромиссах» не на классово материальную почву, а в духе «философии истории», формально, он сам отрезает себе путь ко всякому другому решению, кроме этического. Когда принципы «старо-

го» и «нового» резко и непримиримо противоплагаются друг другу, вообще не может быть поставлен возникающий в процессе конкретной классовой борьбы вопрос о том, как с помощью компромиссов привлечь на свою сторону или нейтрализовать колеблющиеся классы. Всякое отклонение от прямого осуществления последней цели («принципа») становится «предательством» по отношению к «идее», впутывает героя в «трагическую вину». Различие между умеренными и радикалами, между жирондистами и якобинцами становится моральной проблемой²⁰, при чем однако Лассаль игнорирует и не может не игнорировать то обстоятельство, что якобинцы так же заключали «компромиссы», как и жирондисты, только исходя из других классовых предпосылок и поэтому с другими классами, с другим содержанием. А отсюда вполне понятно, что проблему крестьянских войн, как и проблему революции 1848—1849 гг., он также может рассматривать только с этой точки зрения.

О целом ряде эстетических и историко-политических противоречий, вытекающих из этой позиции Лассаля, нам еще придется говорить подробнее. Здесь же отметим только, как крепко и органично связан вопрос о стиле лассалевской трагедии, которая по-шиллеровски построена на основе «трагической вины» и имеет своей темой диалектические противоречия в «идее революции», с охарактеризованной выше политико-исторической установкой Лассаля. Если Лассаль понимает «самокритику» революции 1848 г. как «трагическую» критику революции вообще, если он поэтому в медлительной, маневрирующей, слишком «умной» «реальной политике» усматривает типичную «трагическую вину» революционеров, то эта абстрактно формальная постановка вопроса не только определяет, как мы видели, весь эстетический характер, все художественное содержание его драмы, но она тесно связана и с политическим содержанием всей его позиции. Проблема «реальной политики» отрывается от решающего классового содержания революции 1848 г., от борьбы между буржуазией и пролетариатом; всякое реальное отношение к этой проблеме—хотя бы даже в рамках буржуазной революции—сразу же становится методологически невозможным. Но самообман Лассаля, воображающего, что его абстрактно-диалектическая точка зрения возносит его на вершину самокритики революции, обнаруживается не только с этой стороны. Его самообман оказывается двойным. В самом деле: тот догматизм, то отсутствие всякой критики, с каким Лассаль избирает эту установку исходным пунктом для самокритики революции 1848 г., то, что он останавливается на непосредственности радикально-буржуазной точки зрения, не отдавая себе отчета в ее классовой обусловленности,—все это доказывает

вместе с тем, что он в состоянии представлять себе революцию только наивно догматически, как буржуазную революцию, что поднятые им здесь проблемы революции он ставит, сам того не замечая, с буржуазной, а не с пролетарской точки зрения²¹.

2

Переходя к критике «Зикингена», данной Марксом и Энгельсом, к их полемике против взглядов Лассалья, мы должны были бы сопоставить сначала их интимные высказывания по этому предмету с их письмами к самому Лассалю. К сожалению, для такой сверки, возможной и весьма поучительной в отношении «Гераклита» и «Системы приобретенных прав», переписка Маркса и Энгельса не дает никакого материала. Маркс и Энгельс не обменялись мнениями ни по поводу первого письма Лассалья, ни по поводу своих собственных ответов ему. Единственное замечание, которое быть может относится сюда, это слова Маркса в письме от 19 апреля 1859 г. (этой же датой помечен ответ Маркса Лассалю), где мы читаем: «Ad vos» Лассаль завтра, когда я вообще напишу тебе подробнее²². Однако, в следующем письме, датированном 22 апреля, о Лассале нет ни слова. Таким образом нам остается обратиться только к анализу самих писем Маркса и Энгельса к Лассалю. Отмечая прежде всего их сравнительно сердечный тон и откровенность содержащейся в них критики, мы должны разумеется учесть, что ко времени этой переписки и без того не слишком сильное²³ доверие Маркса и Энгельса к Лассалю уже было впервые сильно поколеблено разоблачениями Леви; что Маркс смотрел на «Гераклита» как на «посмертный цветок минувшей эпохи» и подверг уничтожающей критике совершенно некритическое отношение Лассалья к гегелевской диалектике²⁴; что, далее, политические разногласия, а также трения в связи с немецким изданием сочинений Маркса и Энгельса уже довольно сильно возросли к этому времени. Тем неожиданнее должен показаться тон разбираемых писем и дружеская откровенность критики, хотя и не следует забывать, что критика входила составной частью в сложную «дипломатию» Маркса по отношению к Лассалю²⁵. Тем не менее мы считали бы неправильным толковать эти письма как чисто «дипломатические». Характерно например, что в письме Энгельса встречается следующее замечание: «Впрочем мне и нам всегда приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает при этом превосходство», — замечание, вполне соответствующее по духу интимной оценке «Гераклита» Марксом²⁶. А если еще припомнить, что незадолго до того Маркс, оцени-

вая положение Лассалья в Берлине, высказал мысль о неизбежности его разрыва с лево-буржуазной демократией²⁷, то придется заключить, что разбираемые письма Маркса и Энгельса были не чистой «дипломатией», а действительной попыткой убедить Лассалья в неправильности его точки зрения.

И в самом деле: как Маркс, так и Энгельс сразу подходят в своих возражениях к самой сути вопроса. Маркс хвалит за мысли Лассалья написать драматическую самокритику революции 1848 г.: «...з а д у м а н н а я (разрядка наша.—Г. Л.) коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии». Однако это одобрение тотчас же переходит в самую суровую критику: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой (разрядка наша.—Г. Л.) коллизии?» Возражение Маркса кажется на первый взгляд чисто эстетическим и, как мы еще увидим, оно действительно содержит в себе эстетические элементы—оно вскрывает противоречия между заданием и материалом лассалевской драмы. Но тотчас же обнаруживается, что главный интерес для Маркса и Энгельса совсем не в этом. Согласие насчет «задуманной» коллизии оказывается с самого начала чисто мнимым; оно имеет лишь тот совершенно абстрактный смысл, что Маркс и Энгельс считают критику революции 1848 г. вообще важной и желательной. Но они разумеют под этой критикой как методологически, так и по существу нечто совсем иное, чем Лассаль, а поэтому и возражение, что выбранная Лассалем тема не годится для изображения «этой» коллизии, имеет не только эстетическое значение, а поражает всю концепцию Лассалья в самом ее основании. Лассаль почувствовал это очень ясно и прямо высказал в своем ответе: «Ваши упреки,—писал он Марксу и Энгельсу,—сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Томаса Мюнцера» или какую-либо другую трагедию из эпохи крестьянских войн».

В этом действительно центральный нерв возражений Маркса и Энгельса. Они спорят против мысли Лассалья, будто причиной гибели Зикингена была его «дипломатия», т. е. его индивидуальная «трагическая вина» (безразлично—интеллектуальная, нравственная или та и другая). То, что Лассаль изображает как «вину», есть на самом деле лишь необходимое последствие объективного классового положения Зикингена. «Он погиб,—пишет Маркс,—потому что как рыцарь и как представитель гибнущего класса восстал против существующего, или, вернее, против но-

вой формы существующего». Этим самым уже устранено представление Лассалья о трагедии революции вообще, для которой «Зикинген» является лишь внешним воплощением, и вопрос ставится так: что представляет собой действительный Зикинген в классовых боях своего времени? Ответ Маркса совершенно ясен. Если отвлечься от специфически индивидуального в Зикингене, «то останется Гец фон Берлихинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме, и поэтому Гете справедливо выбрал его в герои». В своей борьбе Зикинген «просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически».

Это замечание — о вытекающих из него дальнейших следствиях мы тотчас будем говорить подробнее — необыкновенно поучительно; оно ярко освещает весь комплекс принципиальных разногласий между Марксом и Лассалем и в то же время показывает, как относились они в этих вопросах к Гегелю и его последователям. Разногласие ясно проявляется в эстетическом понимании Геца фон Берлихингена, в суждениях о Гете, тем более, что в политической оценке Геца как «жалкого субъекта» оба — и Маркс и Лассаль — вполне сходятся. Маркс хвалит Гете, как мы видели, за то, что в лице Геца он выбрал такого героя, в котором исторический конфликт рыцарства с императором и князьями получает свое адекватное выражение. Тут Маркс в известном смысле находится в согласии с Гегелем. Гегель пишет²⁸: «То, что Гете выбрал своей основной темой это столкновение, эту коллизию средневековой героической эпохи с подчиненной законам современной жизни, свидетельствует о его великом чутье. В самом деле: Гец, Зикинген это — еще герои, которые хотят, опираясь на свою личность, на свою отвагу и на свое прямое чувство права, самостоятельно урегулировать условия жизни в более тесной и более широкой сфере; но новый порядок вещей делает самого Геца неправым и приводит его к гибели, ибо только рыцарство и феодальные отношения являются в средние века подлинной почвой для такой самостоятельности». Эти рассуждения заканчиваются и у Гегеля ссылкой на Дон-Кихота. Таким образом при диаметральной противоположности в оценке Геца («жалкий субъект» и «герой») как Гегель, так и Маркс считают Геца и Зикингена представителями погибающей эпохи и усматривают поэтическую значительность Гете в том, что он выбрал своей темой типичный всемирно-исторический конфликт. Иначе смотрит на дело Лассаль. В своем ответном письме он, цепляясь за выражение «жалкий субъект», высказывается против похвалы Маркса по адресу Гете и замечает, что «только отсутствием у Гете исторического чутья» объясняется то, что он мог «сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца».

О внутреннем противоречии, которое сказывается при этом во всей исторической концепции Лассалья, мы будем говорить лишь при анализе его ответного письма. Там он оценивает все крестьянское движение, подобно движению исторического Зикингена, как движение реакционное и следовательно, с его же точки зрения, не способное явиться темой для трагедии. Мы отмечаем это противоречие теперь же только потому, что в нем проявляется своеобразная позиция Лассалья по отношению к Гегелю и позднейшим гегельянкам. Все они разрывают с историческим пониманием трагического у Гегеля и стремятся выработать общую формальную концепцию трагедии, в центре которой стоит, как мы показали, революция, понимаемая чисто формально. К чему ведут подобные взгляды, мы уже вкратце показали на примере двух типичных современников Лассалья — эстетика Фишера и поэта Геббеля. К сказанному нам остается еще только прибавить, что для Фишера с его чисто формальным понятием трагического, и Гег, и крестьянские войны являются возможными темами трагедии²⁹, у консервативного же Геббеля формальное понимание заостряется настолько, что трагическая коллизия приближается к «первородному греху» и с драматической точки зрения становится совершенно безразличным, «погибнет ли герой жертвой высокого или низкого стремления»³⁰, — путь ведущий от Гегеля через его последователей к Шопенгауэру. Лассаль, принципиально стоящий на почве этого формального понимания трагического, делает отчаянные усилия спастись от реакционных последствий своего отправного пункта, извлечь из формального определения трагического, из формального понятия революции революционное содержание. Но все его усилия разумеется безуспешны. Чтобы не оказаться в плену у реакционного «объективизма», у метафизической апологии «существующего», он вынужден броситься в объятия морализирующего субъективизма. Суждение же Маркса о Геге есть некое объективно-историческое констатирование факта, отнюдь не отбрасывающее просто в сторону констатирование того же факта у Гегеля (или в художественном творчестве Гете), — хотя Маркс и ставит Гегеля «на ноги», т. е. переводит его мифологизирующее изложение на экономически-классовый язык, и видит яснее, чем кто-либо, «филистерскую» ограниченность Гегеля. Напротив, суждение Лассалья, несмотря на его политическое согласие с Марксом, остается морализирующим оценочным суждением³¹.

Но вернемся к самой сути дискуссии. С точки зрения Маркса должен быть поставлен вопрос: какая трагедия может возникнуть на подобной основе? По Марксу, она заключается в следующем: «Зикинген и Гуттен гибнут оттого, что они были в своем воображении революционерами (послед-

него нельзя сказать о Геце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., с одной стороны, сделались носителями новых идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес». Это значит, что Зикинген не мог в виду своего классового положения в качестве рыцаря действовать иначе. «Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. тем самым классам, развитие которых — отрицанию рыцарства». Энгельс, разобравший эту сторону вопроса еще подробнее, чем Маркс, принимает на мгновение — в виде методологического приема — наиболее благоприятное для Лассалья предположение, что Зикинген и Гуттен ставили себе целью освободить крестьян. «Но тогда тотчас же получается,— продолжает он,— то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым поступком и практической невозможностью его осуществления» (последняя разрядка наша. — Г. А.).

Из всего вышеизложенного легко убедиться, что «задуманная коллизия», одобряемая Марксом, не имеет ничего общего с подлинной темой Лассалья и даже диаметрально противоположна ей. Мы можем при этом оставить в стороне вопрос о формальном понимании революции, о лассалевской трагедии революции в о б щ е, ибо позиция Маркса и Энгельса в этом пункте совершенно ясна. Ограничимся вопросом о крестьянской войне, взятым, как этого желал Лассаль, в связи с революцией 1848 г. Мысль провести параллель между этими двумя событиями вовсе не принадлежит самому Лассалю. Энгельс провел уже эту параллель в своем этюде о «Немецкой крестьянской войне» в «Обзрении Новой Рейнской газеты» (1850 г.) весьма конкретно и с большой четкостью. И если Маркс и Энгельс в своей полемике с Лассалем то и дело возвращаются к вопросу о Мюнцере, то это вытекает с такой же необходимостью из их отношения к революции 1848 г. (а тем самым — хотя методологически и совершенно иначе, чем у Лассалья, — к буржуазной революции вообще), с какой лассалевский выбор темы «Зикинген» и его интерпретация этой темы вытекали из его отношения к буржуазной революции, которую он впрочем отождествлял с революцией вообще. Энгельс показывает это с несравненной ясностью при анализе позиции Мюнцера: «Худшее, что может случиться с вождем крайней партии, это необходимость взять в свои руки правление в такую эпоху, когда движение еще не созрело для господства того класса, который он представляет... Так

он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может делать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен делать, неосуществимо. Ему приходится в интересах самого движения проводить интересы чуждого ему класса, а свой собственный класс кормить фразами и обещаниями, заверять его, что интересы чуждого ему класса суть его собственные интересы. Человек, попавший в такое ложное положение, обречен на неминуемую гибель»³².

Трагедия Мюнцера является таким образом исторической по преимуществу; из нее можно конечно извлечь стратегические и тактические уроки, применимые *mutatis mutandis* и к другим условиям, но мы неизбежно пришли бы к извращению диалектики, к оппортунизму, если бы стали толковать вышеприведенные слова Энгельса абстрактно, в смысле общего предостережения не начинать борьбу в «несозревшей» ситуации. Поэтому Ленин подчеркивает в своей статье против Мартынова³³ конкретно-исторический характер этих слов Энгельса. Мартынов (равно как и Плеханов) хотел использовать в 1905 г. энгельсовский анализ положения Мюнцера в качестве аргумента против участия РСДРП в революционном правительстве и в интересах гегемонии буржуазии в буржуазной революции. Ленин метко показал, что конкретное противоречие в положении Мюнцера, из которого Энгельс и выводит его трагедию в письме к Лассалю, не имеет ничего общего с этой проблемой, что Мартынов пользуется словами Энгельса только как предлогом для уклонения от действительного анализа ситуации и от выводов из ее правильного анализа. Рассуждения Энгельса представляют собой конкретный анализ классового положения Германии в 1525 г., и они как раз показывают на примере трагедии Мюнцера, как из трудной «несозревшей» ситуации можно извлечь революционно возможный максимум, если правильно и решительно действовать. Вопреки мысли оппортунистов, это отнюдь не есть «прообраз» такой «несозревшей» ситуации, в которой действовать вообще невозможно. Анализируя революции прошлого, Маркс и Энгельс всегда выводят из «несозревшей» ситуации те самообманы революционеров, заблуждающихся насчет действительного направления объективного, прогрессивно-революционного процесса, которые возникают как исторически неизбежные, ложные отражения этого процесса в сознании сторонников «крайней партии». Таков анализ якобинцев у Маркса и таков же анализ положения Мюнцера у Энгельса. Эта революционная самокритика предшественников у Маркса, Энгельса и Ленина дает одновременно основу как для исторического понимания (и художественного изо-

бражения) прошлых революций, так и для извлечения правильных политических уроков из этой самокритики. Наоборот, абстрактно-схематический, неисторический взгляд (от Лассалья до Мартынова и дальше, в самых разнообразных оттенках) приводит на практике к оппортунизму, а в теории преграждает путь к пониманию революций прошлого. Это может проявиться, смотря по исторической конъюнктуре каждого данного оттенка оппортунизма, либо в идеализировании прошлых революций, в затушевывании специфических различий между различными ступенями развития, либо в искажении, умалении, опорочении их революционного характера. Во всяком случае здесь всегда разрывается диалектически-историческая связь, обнимающая как родство, так и различие сравниваемых ситуаций. Но так как анализ положения Мюнцера у Маркса, Энгельса и Ленина является конкретно-историческим, то приложение их учений зависит от той ситуации, в которой и к которой они прилагаются. Энгельс видел с 1850 г. в проблеме Мюнцера — *mutatis mutandis* — проблему революции 1848 г., как это между прочим видно из его рассуждений, следующих тотчас же после приведенного нами выше места. Но вступительная фраза этой цитаты показывает вместе с тем, что во всей этой проблеме, даже в такой наиболее широкой постановке, Энгельс видит только проблему определенной ступени революционного движения. Уже в 1874 г. (в вводных замечаниях ко 2-му изданию «Крестьянской войны») Энгельс ставит вопрос об аналогии между 1525 и 1848 гг. в том смысле, что пролетариат «значит тоже нуждается в союзниках»; трагическое положение Мюнцера превращается таким образом — вместе с усилением революционного класса — в стратегический вопрос о союзниках и резервах революции.

Итак, для Маркса и Энгельса этот анализ «трагического» положения «крайней партии» ни на минуту не заключал в себе «вечной» проблемы. Энгельс имеет здесь в виду только своеобразную позицию Мюнцера как вождя революционной «плебейской» партии, которая «хотя бы в фантазии» должна была «стремиться даже за пределы едва лишь возникавшего буржуазного общества»³⁴. Но аналогия с 1848—1849 гг. распространяется у Маркса и Энгельса лишь на определенные конкретные моменты классовых отношений и на вытекающие отсюда стратегически-тактические проблемы и, стало быть, лишь на определенные стороны классовой подоплеки мюнцеровской позиции, а не на его трагедию как трагедию революции вообще. «Коммунистический Манифест» начертал еще до взрыва революции ясную программу действия «крайней партии», а после поражения революции и в ожидании нового революционного подъема Маркс устанавливает на основе

вполне конкретной самокритики, что его общий прогноз целиком оправдался. Правда, он устанавливает точно так же, что одновременно с успехами произошло и «значительное ослабление» Союза коммунистов, и в результате «рабочая партия утратила свою единственную твердую опору... и попала поэтому в общем движении целиком под власть и руководство мелкобуржуазных демократов»³⁵. То же самое «Обращение» дает точные фактические директивы, чтобы обеспечить правильное отношение рабочей партии к различным классам и их партиям во всех фазах назревающего революционного подъема. Трагедия Мюнцера является таким образом для Маркса и Энгельса трагедией ситуации, принадлежавшей уже тогда историческому прошлому. Если же они все-таки выдвинули ее на первый план (и, как мы видели, не только в дискуссии о «Зикингене»), то это объясняется историко-политически теми внутренними аналогиями между этой ситуацией и революцией 1848 г., которые неоднократно вскрывались Энгельсом, а подытожить уроки последней и внедрить их в сознание своих сторонников было центральной задачей всей деятельности Маркса и Энгельса после поражения революции. В деле собирания сил, в деле идеологического воспитания Лассаль еще играл для Маркса и Энгельса в этот период немаловажную роль. Поэтому его попытка подойти к этим вопросам с помощью художественного творчества должна была встретить их одобрение, но именно поэтому же естественно было их желание убедить его в коренной ошибочности его концепции.

Итак, эстетическое на первый взгляд разногласие относительно выбора Мюнцера или Зикингена в качестве темы трагедии переходит в вопрос о том, усматривать ли главное затруднение революции в экономической, идеологической, организационной слабости самого революционного класса³⁶, что ведет к охарактеризованной Энгельсом трагедии Мюнцера и к формулированным Марксом и Энгельсом в их письмах к Лассалю возражениям против пригодности темы «Зикинген», — или же считать вместе с Лассалем центральной проблемой «всеобщую» революцию против «старого», при чем главным вопросом окажется проблема «дипломатии», «реальной политики», словом, тема «Зикинген». Мы имеем, стало быть, с одной стороны, вопрос о «союзниках» революционного класса, т. е. объективно-исторический вопрос, а с другой — вопрос о способности известного «интеллигентного» промежуточного слоя руководить всеми недовольными существующим режимом классами, при чем центральной проблемой оказывается связанность этих вождей со «старым» миром, трудность для них «совлечь с себя ветхого Адама», т. е. этико-психологический вопрос. Маркс и Энгельс осуществляют таким

образом действительную самокритику «крайнего», единственного подлинно революционного крыла революции 1848 г., они вскрывают объективные условия крушения революции с помощью беспощадного классового анализа. Лассаль же, наоборот, подвергает критике колеблющийся (в силу объективно-экономических условий), «дипломатизирующий», «реально-политический» «центр». Так как он не видит в его поведении исторически-необходимого, объективно-экономического момента (во всяком случае не видит действительного значения этого момента)³⁷, то он поневоле должен остановиться на чисто идеологической интерпретации исторического процесса, что и приводит его по содержанию к теме «Зикинген», а с эстетически-формальной стороны — к морализующему пафосу, к «трагической вине», к Шиллеру.

Как Маркс, так и Энгельс ставят действительно в своих письмах вопрос о шиллеровском стиле в «Зикингене». Тем самым вся дискуссия приобретает еще в большей мере эстетическое направление, не теряя однако своей тесной связи с рассмотренным выше основным разногласием. В самом деле, главная композиционная ошибка, отмечаемая Марксом и Энгельсом у Лассалья, заключается, по Марксу, в следующем: «Дворянские представители революции, за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой империи и кулачном праве, не должны были, значит, так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя; представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были бы составить существенный активный фон». Совершенно в таком же духе пишет Энгельс, похвалив сначала Лассалья за изображение князей, родов и т. д.: «...так сказать, официальные элементы тогдашнего движения этим приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские, элементы с их сопутствующим теоретическим выражением». После всего вышесказанного ясно, в чем подлинная суть этих эстетических, композиционных возражений. Но Маркс и Энгельс стараются вообще использовать каждый поворот дискуссии, чтобы с самых различных точек зрения убедить Лассалья в ошибочности его понимания. Так Энгельс вслед за приведенной нами только что цитатой далее указывает, что цель Лассалья — изобразить в лице Зикингена героя «политического освобождения и национального величия»³⁸ — была бы достигнута гораздо лучше с помощью изображения крестьянской войны, ибо «крестьянское движение, — говорит Энгельс, — было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена

11
содержательного характера, к которому относятся, как к их фразе, одобря-
ющей и утверждающей труды тех скотов охотников
культуры и доблестей народа, которые в настоящее
время разлагаются и разлагаются. Но все еще не
покинули, в том же, по крайней мере, Мар-
тин? Но все еще не покинули, что суще-
ственно. Именно сферой в указании на то, что
каждый капиталистический и дворянский и крестьян-
ский и городской, и слова и идеоло-
гический, и самоуверенный, и капиталистический
и социальный и революционный?

II
Именно указывая на возможность не-
которых социальных и пролетарских и пролетар-
ских и городских и крестьянских, и указывая на
то, что в социальном и пролетарском и пролетар-
ском и городском и крестьянском и указывая на
то, что в социальном и пролетарском и пролетар-
ском и городском и крестьянском и указывая на

его собственной участи, примирилось со своим историческим призванием к придворному раболепству». И далее Энгельс объясняет выпадение из лассалевской драмы «подлинно трагического элемента в судьбе Зикингена» именно этой «недооценкой крестьянского движения». Еще решительнее выражает эту мысль Маркс. Он подытоживает всю свою полемику против темы «Зикинген» и атакует центральное идейное содержание драмы, упрекая Лассалья в том, что действие драмы охватывает только проблемы буржуазной революции, не делая решительного шага за ее пределы. «Тогда ты мог бы, — пишет он вслед за приведенным выше местом об игнорировании крестьян, — и в гораздо большей мере выразить как раз наисовременнейшие идеи в их чистейшей форме (разрядка наша. — Г. Л.), теперь же главной идеей фактически остается у тебя, наряду с религиозной свободой, гражданское единство». И, пытаясь придать своей критике задуманной Лассалем самокритики революции 1848 г. диалектический характер в смысле самокритики Лассалья, он в заключение пишет: «Не впали ты до известной степени сам, как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?»

Переходя в заключение, казалось бы, уже к чисто эстетической стороне дискуссии, к критике шиллеровского стиля в драме Лассалья, мы после всего сказанного заранее можем быть уверены, что и эта сторона вопроса имеет свою классовую и идеологическую подоплеку. Не случайно Маркс вставил свою критику стиля драмы между двумя последними из приведенных нами мест. Если он делает здесь Лассалю следующий упрек: «...тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим главнейшим недостатком» (последняя разрядка наша. — Г. Л.), — то это суждение весьма убедительно и тесно связано с упреком в дипломатической игре с революцией. Маркс указывает здесь весьма осторожно, вполне оставаясь в рамках эстетической дискуссии, на связь абстрактно-морализирующего идеализма Лассалья с его политическим оппортунизмом.

Было бы следовательно большой ошибкой видеть в выдвигании Шекспира против Шиллера лишь чисто эстетический вопрос или вместе с Мерингом усматривать в пристрастии Маркса и Энгельса к Шекспиру, а Лассалья к Шиллеру только различие индивидуальных вкусов. Когда Меринг в посвященной этому вопросу статье³⁹ пишет, что «Лассаль был не в меньшей мере, чем Маркс и Энгельс, учеником Фихте и Гегеля», он затушевывает

этим все существенные, решающие проблемы философского антагонизма между Марксом, Энгельсом и Лассалем. Лассаль действительно вернулся в философской области к Фихте, как в эстетической он возвращается к Шиллеру, между тем как Маркс и Энгельс видели в Фихте и Шиллере уже преодоленные Гегелем, а после того, как диалектика, стоявшая у Гегеля «на голове», была поставлена на ноги—уже окончательно отошедшие в прошлое фигуры. Поэтому совершенно искаженно изображает дело Меринг, объясняя, с одной стороны, «антипатию» Маркса к Шиллеру «обстоятельствами», а с другой—усматривая даже в этом пункте какое-то превосходство Лассаля, поскольку он «различает между Шиллером и его буржуазными толкователями». Нет, Маркс и Энгельс отвергали в лице Шиллера (и в связи с этим в лице Канта) вполне определенную, конкретную ступень в развитии немецкой идеологии. Что это отрицательное отношение имеет и свои эстетические стороны, ясно само собой. Маркс и Энгельс были слишком цельными личностями, чтобы установки их мирозерцания, положительные и отрицательные, могли остаться без влияния и на их чисто субъективные оценки, на их симпатии и антипатии, на их эстетическое одобрение или неодобрение. Такова например суровая критика, которой Маркс подвергает «чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой» (что, как правильно подчеркивает Маркс, «проистекает из твоего (т. е. Лассаля) пристрастия к Шиллеру»), особенно в изображении женщин.

Но решающий момент в выдвижении Шекспира против Шиллера заключается для Маркса и Энгельса в том, что требуемое ими от драмы мощное, реалистическое изображение исторических классовых боев, как они действительно происходили, наглядное изображение их действительных движущих сил, действительных объективных конфликтов возможно только с помощью тех поэтических средств, которые Маркс обозначает здесь словом «шекспиризирование». Еще подробнее, чем Маркс, обсуждает этот вопрос в своем письме к Лассалю Энгельс. Вот что он пишет о характере драмы: «Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает; и с этой стороны идейному содержанию драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика в стиле древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы

могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением Шекспира в истории развития драмы». Это место, в связи с советом Маркса побольше «шекспиризировать» и с другим местом из письма Энгельса, где вопрос об изображении «тогдашней, столь удивительно пестрой плебейской общественности» увязывается с тем же вопросом о шекспировском стиле, вполне выясняет, как нам кажется, связь этих решительных эстетических возражений Маркса и Энгельса с вышеизложенным. А с другой стороны, мы уже выше показали, что возвращение Лассалья к Шиллеру связано со всей его концепцией революции, с самой сутью его мирозерцания.

Правда, это обращение Маркса к Шекспиру имеет двойное значение, которое мы должны здесь вкратце проанализировать, чтобы правильно оценить его позицию против Лассалья. Мы уже указали, говоря о взгляде Гегеля на трагическое, на соответствующий взгляд Маркса и отметили, что Маркс и в этом вопросе поставил диалектику (мистифицированную Гегелем) «на ноги». Путь к этому мог быть только один: общественно-историческая конкретизация проблемы трагического. Правда, и у самого Гегеля трагедия есть общественно-историческое явление, но (несмотря на всю ясность и конкретность в отдельных деталях) она остается облеченной в мистифицированную форму. Относя период трагедии, период «героев», ко времени до возникновения «гражданского общества» и усматривая в явлении трагического диалектическое саморазложение этого периода, его переход в гражданское общество (ср. особенно «Феноменологию духа»), Гегель вполне сознательно локализирует трагедию в рамках развития классической греческой культуры, и ему удается, опираясь на переплетенность греческой трагедии с мифологией, мифологизировать эту связь в историко-философских терминах. (Шекспир является в эстетике Гегеля каким-то удивительным эпилогом, чем-то вроде тех *ricorsi*, о которых говорит Вико.) Маркс ставит для прошлого момент диалектического разложения данного общественного строя в центр теории трагического. Трагическое есть таким образом выражение героической гибели класса. Так Маркс и Энгельс пишут, имея в виду именно Шекспира, хотя и не называя его по имени⁴⁰: «Если гибель прежних классов, например рыцарства, могла дать материалы для величественных трагических произведений искусства, то мещанство вполне естественно не может пойти дальше бессильных проявлений фанатической злобы или собрания санчопансовских сентенций и премудрых наставлений». Еще отчетливее выявляется исторический характер трагического в «Критике гегелевской философии права», где трагическая форма выражения определяется как этап

в том же историческом процессе упадка данного класса и определяемого им общественного строя,—этап, за которым следуют этапы дальнейшего упадка, когда трагическое разлагается в комическое. Маркс пишет о том, какой интерес представляет борьба в Германии для народов Запада, и говорит:

«Для них поучительно видеть, как старый порядок, переживший у них свою трагедию, разыгрывает теперь в Германии комедию, словно выходец с того света. Трагичной была его история, пока он был предсуществующей властью мира, а свобода была личным капризом — словом, пока он сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Пока старый порядок боролся как существующий мировой порядок с еще только возникавшим миром, на его стороне было всемирно-историческое, а не личное заблуждение. Его гибель была поэтому трагична».

Однако наряду с этой формой трагедии Маркс и Энгельс выдвигают в своей полемике с Лассалем второй ее тип. У Гегеля трагический герой был всегда защитником общественного строя, обреченного на гибель историческим развитием. Из вышеприведенного места видно, что по отношению к древнему миру и средним векам Маркс должен был освободить этот взгляд от мифологии и идеалистической мистификации (оценка Геца фон Берлихингена), конкретно сведя явление к его общественно-историческим причинам, но для нового времени у Гегеля вовсе не было трагедии и не могло ее быть. Ибо осуществление идеи в государстве, возникновение гражданского общества, подчинение отдельного лица разделению труда и т. д. создают такие условия, при которых, с одной стороны, индивид является «не самостоятельным, целостным и в то же время индивидуально живым образом самого общества, но лишь ограниченным членом этого последнего», а с другой — этот общественный строй настолько совпадает с разумом, что принципиальное восстание против него (например Карл Моор у Шиллера) должно производить «мальчишеское» впечатление⁴¹. Таким образом неприятие современной трагедии вытекает у Гегеля непосредственно из всего его взгляда на новое время, поскольку этот взгляд связывает прозаический, неблагоприятный для поэзии характер современного «мирового состояния» с фактом самодостижения и самопостижения духа и именно поэтому сомневается в возможности «героической гибели» какого-нибудь класса в настоящее время. А трагедия революционера должна была быть для него еще более неприемлема⁴². Но именно здесь и возникает вопрос для Маркса и Энгельса. Послегегелевская литература и эстетика поставили, правда, как мы видели, вопрос о трагедии революции, пытались преодолеть гегелевский «конец истории» и в эстетическом плане. Но в по-

становке этого вопроса она поднималась в лучшем случае только на гегелевскую ступень, т. е. поставила вопрос в такой форме, которая оставляет неприкосновенным фундамент буржуазного общества (как ступени уже осуществленного разума). Отсюда либеральная двойственность Фишера и консервативная романтика исторической необходимости у Гёббеля. Лассаль пытался, как мы знаем, разрешить проблему на основе революционного субъективизма (шиллеровская традиция). Но так как этот субъективизм есть сам лишь выражение неопределенной гегелевской основы (т. е. неумения подняться над горизонтом буржуазного общества), то и все категории гегелевского решения (примирение и т. д.) эклектически смешиваются у Лассаля с категориями шиллеровско-фихтевского субъективного идеализма (трагическая вина). Лассаль понимает, правда, всю пустоту тех эстетических категорий, с помощью которых его современники думали преодолеть гегелевское положение о «непоэтическом» характере нового времени (умеренный реализм Фишера, «благоговение перед действительностью» современных либеральных писателей и теоретиков искусства, как «примирение» с худшими сторонами капиталистической действительности в Германии), но он может противопоставить им только риторический идеализм и субъективизм шиллеровского пафоса. Он находит таким образом и в эстетической области только эклектическое решение, потому что его основная позиция в вопросах, составляющих реальную основу его художественной установки, сама проникнута эклектичным идеализмом. Зикинген должен быть, согласно его замыслу, революционным героем в духе Шиллера, объективно же этот герой гегелевской трагедии — представитель погибающего класса. (Эти противоречия все-таки остаются в драме неразрешенными.)

Маркс и Энгельс исходили, как показано выше, из материалистической переработки гегелевского понимания трагедии. Но не только из этого. У Гегеля была лишь одна форма трагедии. Для Маркса и Энгельса наряду с ней существует еще трагедия преждевременно явившегося революционера, трагедия Мюнцера. Это различие двух типов трагедии и в эстетическом смысле необходимо связано с материалистической переработкой гегелевской теории трагического; трагедия (и комедия) оказывается поэтическим выражением определенных фазисов классовой борьбы — и притом как у исходящего, так и у революционного класса. Второй тип трагического отменяет вместе с тем гегелевскую характеристику современности как «непоэтичной», но отменяет ее в духе диалектического материализма. Что «капиталистический способ производства враждебен некоторым отраслям

духовного творчества, как например искусству и поэзии»⁴³, — это Маркс подчеркивал неоднократно. И этого не преодолеешь ни «примирительным» реализмом, ни субъективистическим идеализированием, а исключительно только революционным реализмом, раскрывающим внутренние противоречия капиталистического развития с беспощадной откровенностью, с бесстрашно «циничной» или революционно-критической правдивостью. Это — поэзия революционного сознания, уяснившего себе основы дальнейшего развития⁴⁴. Трагедия «преждевременного» революционера обнаруживается как раз в своей исторической конкретности, в неразрывной связи со всеми недостатками и ошибками, вытекающими из еще «несозревшей» революционной ситуации. В противовес унылым филистерам, всегда восклицавшим вместе с Плехановым: «Не надо было браться за оружие!» — Маркс одинаково энергично подчеркивает, с одной стороны, неумолимую историческую необходимость, явившуюся причиной гибели, а с другой — необходимость все-таки предпринимать борьбу и положительное прогрессивное значение того факта, что борьба была предпринята, и мужественно предпринята. «Творить мировую историю было бы конечно очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов... Демонстрация рабочего класса в последнем случае (т. е. если бы рабочие не ответили на поставленную буржуазией альтернативу открытой борьбой. — Г. Л.) была бы гораздо меньшим несчастьем, чем гибель какого угодно числа «вожаков». Борьба рабочего класса с классом капиталистов «...вступила благодаря Парижской коммуне в новую фазу... Сравнить с этими парижанами, готовыми штурмовать небо, тиранов германо-прусской священной империи...»⁴⁵. Трагедия таких революционеров, как Мюнцер, черпает свой пафос именно из того обстоятельства, что только через крушение героических попыток и через их «беспощадно основательную» самокритику движение может притти к высшим формам борьбы, к достижению победы. «Социальная революция» может поэтому, как пишет Маркс в «18 брюмера», «почерпнуть свою поэзию... только из будущего». Итак, Маркс и Энгельс критикуют Лассалля в двойном: во-первых, они упрекают его за то, что он как запоздалый представитель немецкого классицизма выбрал трагедию первого типа (Мюнцер против Зикингена), а во-вторых, за то, что, раз уже выбрав эту тему, он не сделал из нее всех выводов и не изобразил героя погибающего класса именно как такового. Шекспир как великий поэт нисходящего средневековья может при этом служить художественным прообразом для обеих возможностей, между тем как шиллеровский стиль может привести лишь

к затемнению и искажению тех реальных движущих сил классовой борьбы, материалистический анализ которых один только способен явиться фундаментом для действительно поэтической композиции.

Мы должны были остановиться несколько подробнее на этой позиции Маркса и Энгельса в вопросе о Шекспире, чтобы у читателя не возникло и тени подозрения, будто в своей критике шиллеровской манеры Лассалья они стояли на одном уровне с теми критиками, которые также упрекали Лассалья в «абстрактности», но в своих положительных оценках оставались как раз на точке зрения «дурной индивидуализации», в борьбе с которой Энгельс признал себя солидарным с Лассалем⁴⁶. Возвращение Лассалья к Шиллеру равносильно в «Зикингене» признанию принципов буржуазной революции. Поэтому выдвижение Шекспира против Шиллера может происходить как справа, так и слева. Если бы после всего вышесказанного для этого требовалось еще косвенное доказательство, то мы могли бы указать на оценку словесно-метрической формы лассалевской драмы со стороны Маркса-Энгельса и со стороны Фишера-Штрауса. Маркс замечает, правда, что, поскольку Лассаль написал свою драму ямбами, ему следовало бы отделать их несколько более тщательно. «В общем однако, — прибавляет он, — я вижу в этом преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего, кроме гладкой формы». Энгельс касается лишь мимоходом «вольностей» в версификации, «мешающих больше в чтении, чем со сцены». В противоположность этому Фишер и Штраус приходят в величайшее негодование от стихотворной стороны «Зикингена».

3

Возражение Лассалья на критические замечания Маркса и Энгельса, весьма подробное и, по его собственному признанию, «растянутое, лишенное всякого стиля и всякой четкости», пытается отстоять позицию драмы и обоих предисловий к ней. Но Лассаль вынужден в этой самозащите пойти почти по всем существенным пунктам гораздо дальше, чем он шел или хотел идти вначале. Поэтому, с одной стороны, скрытые прежде (но ясно понятые Марксом и Энгельсом) противоречия его позиции обнаруживаются теперь как непреодолимые антиномии, непримиримость которых он сам может скрыть от себя только с помощью софизмов, а, с другой стороны, защита объективно несостоятельной позиции вынуждает его к таким выводам, всю политическую суть которых он тогда еще едва ли сознавал, но значение которых наверное тотчас же было понято Марксом и Энгельсом в полной мере. Их резко отрицательное отношение к этому



ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ

С фотографии (конца 50-х годов), хранящейся в Музее Маркса-Энгельса-Ленина

письму, отмеченное нами в начале статьи, их внезапный отказ от дальнейшей дискуссии объясняются, как нам кажется, именно этими моментами.

Начнем с той части спора, которую сам Лассаль рассматривает под конец, хотя он же называет ее «наиболее важной», потому что, как он пишет, «ею затрагивается интерес партии, который я признаю весьма правомерным». Начнем с исторической оценки Зикингена и его позиции в вопросе о крестьянской войне. Как помнит читатель, Маркс и Энгельс исходили из того, что Зикинген был в качестве рыцаря представителем погибающего класса и что поэтому его цели могли быть только реакционными и сам он был революционером «только в воображении». С этим связаны упреки в недостаточном внимании к плебейско-крестьянским элементам и упрек со стороны Маркса в том, что Лассаль в своей драме сам «дипломатизирует», подобно своему герою. И вот Лассаль с негодованием отклоняет от себя упрек в дипломатизировании как «в высшей степени несправедливый». Чтобы опровергнуть относящиеся сюда выражения Маркса и Энгельса, он набрасывает связный очерк своих взглядов на классовый характер дворянского восстания и крестьянской войны. Суть его теории заключается в том, что обе стороны — как исторический Зикинген и рыцари, так и крестьяне — были реакционны. Крестьяне «в высшей степени реакционны, реакционны ничуть не меньше, чем исторический Зикинген (не мой) и сама историческая дворянская партия», пишет Лассаль.

Здесь разумеется не место для подробного анализа и сравнения, с точки зрения их исторической правильности, взглядов Маркса-Энгельса и Лассалья на тенденции экономического развития и классовые отношения в Германии около 1522—1525 гг. (тем более, что правота Маркса и Энгельса тут совершенно очевидна). Мы займемся здесь только выяснением некоторых важных методологических сторон лассалевской полемики, освещением их связи с интересующим нас комплексом проблем и их сопоставлением с соответствующими взглядами Маркса-Энгельса. Итак, почему крестьянское движение является, по мнению Лассалья, реакционным? Лассаль приводит два соображения. Оно, во-первых, не-революционно потому, что крестьяне требовали только «уничтожения злоупотреблений», а не радикального переворота: «идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы всей той эпохи». А во-вторых, оно «реакционно в такой же мере, как и историческая дворянская партия», и именно потому, что «определяющим политическим моментом является для них еще не субъект, а частное землевладение... На основе сво-

бедного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это было бы все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Именно благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен». В противовес этой реакционной идее князь с их властью над землей, не являвшейся их собственностью и не переданной им в ленное владение, представляли собой первый зародыш независимого от частного землевладения «политического государственного принципа». Этот взгляд который, как мы знаем, повторяется и в позднейших сочинениях Лассалья⁴⁷, характерен в двух отношениях. Во-первых, он насквозь идеалистичен, ибо он совершенно игнорирует основные экономические вопросы (эксплоатацию крестьян дворянством) или во всяком случае трактует их как нечто более или менее второстепенное⁴⁸, решая вопрос о революционном или реакционном характере движения с точки зрения юридического урегулирования вопросов собственности и не ставя вовсе вопроса о формах эксплуатации (или ее уничтожения). А во-вторых, этот старый гегельянский метод в конце концов не диалектичен. Революционный и реакционный принцип противопоставляются друг другу в механически застывшем виде. Живое взаимодействие классов совершенно игнорируется, несмотря на его огромное значение именно в данном случае, когда основные классы буржуазного общества — буржуазия и пролетариат — еще не успели образоваться, когда таким социальным слоям, как «плебеям», крестьянам, принадлежит решающая роль, и поэтому прогрессивные, реакционные и утопические тенденции все время перекрещиваются, так что часто бывает трудно конкретно установить преобладающий момент. Так Лассаль проходит, с одной стороны, мимо всех социалистических элементов плебейского движения (ср. приведенную выше цитату из Энгельса о Мюнцере с идеологическим представлением Лассалья о «религиозном фантазерстве» Мюнцера), а с другой — он не замечает и того, что объединение «прогрессивных элементов нации», как оно выразилось в имперской конституции Венделя-Гипплера, «является предчувствием нового буржуазного общества». Эти «принципы... не были, правда, непосредственно осуществимы, но они были несколько идеализованным, необходимым результатом фактического разложения феодального строя, и крестьяне, как только приступили к выработке законопроекта для всей империи, были вынуждены считаться с ними». В своем дальнейшем анализе проекта Гипплера Энгельс отмечает, что

«дворянству делаются уступки», «весьма напоминающие выкупы нового времени». Но если по этой линии, по линии подчинения «подлинным интересам граждан», движение могло ставить себе буржуазно-революционные цели, а под мюнцеровски-плебейским руководством — даже цели, идущие далее буржуазного строя, то как раз необходимая цель Гуттенов и Заклингов — дворянская демократия — была определенно реакционной. Это, — говорит Энгельс⁴⁰, — «одна из наиболее грубых общественных форм, которая вполне нормально развивается в разработанную феодальную иерархию, представляющую собой уже значительно более высокую ступень». Полемика Лассалья ясно показывает, что этой конкретной исторической диалектики классового развития, а следовательно и действительной диалектики революции он не понимает, понять ее не хочет и не может.

Дело нисколько не меняется от того, встречаются ли у Лассалья в его драме и в письмах отдельные правильные формулировки или нет, дает ли он правильное изображение отдельных классовых ситуаций. Важен недиалектический характер его основной точки зрения, не только мешающий ему правильно понять современность и историю, равно как и их правильное истолкование Марксом и Энгельсом, но даже заставляющий его изменить своей собственной философской основе, идеалистической диалектике Гегеля, и приблизиться к догегелевским воззрениям. Мы уже коснулись этого вопроса выше, в связи с лассалевским пониманием «трагической вины» и с его приближением к Шиллеру. Маркс и Энгельс не подошли, правда, в своей критике непосредственно к этому вопросу (выдвижение Шекспира против Шиллера с ним очень тесно связано), но их критика настолько расшатала позицию Лассалья, что последний оказался вынужден показать свое философское лицо. Он пытается конечно опровергнуть аргументы Маркса-Энгельса по отношению к историческому Зикингену и таким образом лишить почвы всю их критику в целом. Но словно чувствуя, что в этой области его аргументы недостаточны, он старается отстоять решающий для него пункт, т. е. характер и судьбу своего (а не исторического) Зикингена, и с философской стороны. Речь идет понятно опять-таки о союзе Зикингена с крестьянством, о том, насколько этот союз был бы возможен и к чему бы он привел. И вот здесь Лассаль оказывается вынужденным подробно изложить свой общий взгляд на историческую необходимость и ее отношение к человеческой активности. В виду важности вопроса мы должны привести это место целиком. «Что получи-

лось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный *au fond* интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо встать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому уташает действительность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей действительности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигаемый интерес так же невозможен, как и смелый подвиг».

Здесь принципиально важно то обстоятельство, что в вопросе об исторической необходимости и практике Лассаль имеет в виду практику не классов, а индивидов и поэтому поневоле дуалистически разрывает необходимость и «свободу» (практику). Это приводит его к дуализму, который не только весьма далек от диалектического понимания этой проблемы у Маркса и Энгельса, но даже остается далеко позади Гегеля, приближаясь к Фихте, Шиллеру, Канту. Ибо хотя гегелевская философия истории и оперирует с индивидом, с его «страстью», соединяя его посредством «лукавства разума» с необходимостью исторического процесса, однако у Гегеля индивид есть все-таки представитель определенного исторического коллектива (нации и т. д.) и его «страсть» теснейшим образом связана с «интересами». «Это частное содержание, — говорит Гегель⁵⁰ (сказав сначала о «частных интересах», «специальных целях», «своекорыстных намерениях» и т. д.), — настолько едино с волей человека, что оно составляет всю определенность последнего и неотделимо от него: благодаря этому содержанию человек есть то, что он есть». Но именно эта переплетенность «идеи» и «страсти» и создает у Гегеля тесную историческую связь (вопреки его собственной идеалистической метафизике). «Таким образом великие исторические личности, — продолжает он, — могут быть поняты только на своем месте» (разрядка наша. — Г. Л.). Связь между «вождем», «всемирно-исторической личностью» и ведомой

массой основана у Гегеля на том, что вождь высказывает и делает то, к чему масса стремится, сама того не зная. «Всемирно-исторические личности впервые разъяснили людям, чего они хотят. Знать, чего ты хочешь, не легко; можно в самом деле хотеть чего-нибудь и все-таки стоять на отрицательной точке зрения, испытывать только недовольство; сознание положительной цели вполне может при этом отсутствовать». Итак, по Гегелю, «вождь» является таковым потому, и только потому, что он есть выражение некоторой объективно исторической коллективной необходимости (нации, класса); он может им быть лишь постольку, поскольку он выражает собою тенденцию общественного развития, постольку он формулирует в виде программы то, к чему остальные, согласно своим интересам, необходимо стремятся, хотя это стремление и остается смутным, бессознательным и т. д. Ясное дело, что Лассаль, расходясь в этом пункте не только с Марксом-Энгельсом, но даже с Гегелем, отрывает «индивидуальные решения и поступки» от их реальной почвы, противопоставляет их необходимости, — словом этицизирует их в духе Канта и Фихте⁵¹.

Тем самым Лассаль создает философскую почву, на которой он надеется одержать победу в споре с Марксом и Энгельсом о преимуществах темы «Мюнцер» или темы «Зикинген». Он формулирует этот вопрос как противоположность «слишком далеких» и «недостаточно далеких» шагов на революционном пути и настаивает на том, что его решение «гораздо глубже, трагичнее и революционнее», чем решение, предлагаемое Марксом и Энгельсом. Оно трагичнее, ибо только при нем возможно появление знаменитой «трагической вины». Как читатель помнит, Энгельс заметил, что хотя отдельные лица, и в том числе лассалевский Зикинген, могут действительно стремиться к союзу с крестьянами, но это тотчас же привело бы их к столкновению с дворянством, в чем, по Энгельсу, может заключаться источник трагической коллизии. Лассаль указывает (и после вышеприведенной цитаты это понятно) на то, что в предполагаемом Энгельсом случае конфликт имел бы место только между Зикингеном и его партией, и «куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне вполне оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса — страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище». Теперь уже конечно несколько не удивительно, что Лассаль, берущий развитие Зикингена в чисто индивидуальном разрезе, видит в объективно необходимом классовом конфликте Зикингена с дворянским клас-

сом только «эгоизм» этого последнего, что он рассматривает действия обеих сторон, конфликт между ними, не как объективно-исторически необходимую коллизию и ставит с этой точки зрения — теперь уже вполне последовательно — вопрос о «трагической вине». Но ставя этот вопрос, он неизбежно порывает с гегелевской философией истории, неизбежно переходит на точку зрения субъективного идеализма.

Отсюда вполне естественно вытекает, что конфликт представляется Лассалю «более трагическим», когда он «имманентен самому Зикингену», т. е. когда он является этическим конфликтом. Как мы уже видели и как это теперь еще яснее показывает Лассаль, этот этический конфликт есть конфликт индивида с его собственным классом или, еще точнее, с пережитками старой классовой идеологии внутри самого человека, готового перейти к другому классу. Итак, согласно вышеприведенной ясной формулировке Лассалья, этический, «внутренний» конфликт трагичен, а объективно-историческое столкновение — не трагично. Любопытно, как определяет Лассаль трагический конфликт. Понятно само собой, что в качестве «почти в каждой революции повторяющегося вечного» конфликта он ставит его выше, чем исторически определенный конфликт Мюнцера. Он видит в Зикингене индивида (вроде Сен-Жюста, Сен-Симона, Жишки), который хочет или может «целиком подняться над своим классом»⁵². Но чтобы получить конфликт и трагедию, чтобы иметь материал для изображения «вины» и «искупления», Лассаль вынужден конкретизировать общую формулу в двух важных отношениях. С одной стороны, он весьма энергично подчеркивает, что вначале Зикинген «еще не может до конца порвать со старым... ведь отсюда и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление (и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось пьесы...)»⁵³. Стало быть трагичность, якобы более «глубокая», чем та, о которой говорит Энгельс, заключается главным образом в том, что отрыв Зикингена от своего класса происходит медленно и мучительно, что его решительный разрыв с ним наступает слишком поздно. Трагичность в том, что в Зикингене сконцентрированы все революционные возможности, и он все-таки гибнет, потому что он «не вытравил из своей природы одну последнюю преграду, произвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера». Картина становится еще яснее благодаря тому, что Лассаль вынужден под давлением аргументов Маркса и Энгельса оставить перспективу дальнейшего революционного развития

Зикингена в субъективистском этико-эстетическом полумраке. Лассаль разъясняет⁵⁴ положение Зикингена так: Зикинген «стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиваться как в том смысле, что он сделает эти выводы, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью». Здесь мы имеем весьма интересное высказывание Лассаля о том, как мыслится им судьба, якобы составляющая трагедию всякой революции. В этой связи становится совершенно понятно, почему Лассаль считал не только «более глубокой и трагичной», но и «более революционной» такую ситуацию, когда в основе конфликта лежат недостаточно далекие шаги, чем такую, когда он вызывается, как в схеме Маркса и Энгельса, слишком далекими шагами. Но ясно вместе с тем, что как лежащие в основе обеих установок мировоззрения (субъективный идеализм и материалистическая диалектика), так и обе концепции революции не имеют ничего общего друг с другом.

Этим однако «исповедь» Лассаля еще далеко не исчерпана. Чтобы как можно успешнее отстоять свою точку зрения против Маркса и Энгельса, он все время пытается показать, что Зикинген все-таки мог бы удержать вместе различные, устремленные в противоположные стороны классы — дворян и крестьян — и в этом сотрудничестве классов не дать ни на одну минуту решающего перевеса дворянству. Приведем некоторые характерные места. Мнение Энгельса о том, что попытка Зикингена освободить крестьян привела бы его к столкновению с дворянством, Лассаль считает несостоятельным: он находит «даже невероятным... чтобы Зикинген, если бы только он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми...» И Лассаль же пишет о дворянстве, что он хотел «изобразить его в виде партии, которую лишь Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях». Такому пониманию «вождя» соответствует аналогичное понимание «массы». Дворянство отступило от Зикингена «не вследствие сознания различия их внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности». Коротко говоря, мы имеем здесь хоть и проникнутую пафосом буржуазной революции, хоть и стоящую на духовной почве немецкого классицизма, но по суще-

London. 10 Juni 1859.

Lieber Freund.

Hierzu kommen nunmehr zwei Handschreiben. Das eine über
Fortifikation, welches wiederum aus zwei Handschreiben besteht, das
14 Seiten umfassen dürfte, ist in der That sehr interessant. Das zweite
umfasst eine Analyse v. Lassalle's um mich zu dich zu sein
Sicherungen bezüglich der von mir veröffentlichten Sachen. Unbegreiflich
warum man in dieser Hinsicht nicht eher diesen
Zweck erreichen sollte. Ich will jetzt nicht mehr schreiben,
bei der Zeit gegeben, sondern mich für die Zeit
genügend mit zu befassen.

Adressen. Das eine davon handelt, falls man beifallen
und mich zuversichert, nicht die die besten abzugeben,
sondern eher eine Antwort in der man mich auffordern
kann, dass ich nicht aufhören etc. etc. etc.
zu schreiben. Die zweite Handschreiben, die mich zu

НАЧАЛО ПИСЬМА МАРКСА К ЭНГЕЛЬСУ
ОТ 10 ИЮНЯ 1859 г.

С фотокопии, хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

«Сегодня получил две рукописи. Одну превосходную, это — твою о фортификации, при чем испытал прямо угрызения совести, что так отнимаю твое и без того скудное время. Другую — смешную, а именно возражения Лассаля мне и тебе по поводу его «Зикингена». Целый лес густо исписанных страниц. Непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть это...»

ству бонапартистскую историческую концепцию «героя», «творящего» историю⁵⁵. Буржуазно-революционные и поэтико-философские классические традиции, правда, несколько изменяют внешнюю форму этой концепции, приближают ее в литературном отношении к этапу маркиза Позы в развитии немецкой идеологии⁵⁶, но решающим остается все-таки то обстоятельство, что, согласно Лассалю, «герой» может по произволу двигать классы назад и вперед, исторически осуществляя повеление «идеи»⁵⁷. Зикинген терпит крушение только потому, что в нем, как мы видели, оставалось еще чересчур много «человеческой, слишком человеческой» связанности со своим старым классом. Таким образом попытка Зикингена провозгласить себя императором является не только элементом исторического предания, но и важной составной частью лассалевской концепции. «Что же касается рыцарской оппозиции,— пишет он против Маркса и Энгельса,— то ведь для Зикингена она вообще не существенная цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет использовать для провозглашения себя императором, чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную национальную идею». Таким образом Лассал высказывается здесь решительным образом за чисто буржуазный переворот по содержанию, а в отношении средств — за бонапартистскую «реальную политику» более или менее ловко направляемых «массовых движений». Что субъективный идеализм, этическая установка, является для всего этого вполне подходящей базой в качестве мировоззрения, что на этой почве «недостаточно далекие шаги» органически являются трагедией революции вообще, — это после всего вышеизложенного уже не нуждается в комментариях.

Неудивительно, что Маркс в письме к Энгельсу реагировал на это письмо Лассалю приведенным в начале настоящей статьи раздраженно-презрительным замечанием. Некоторые намеки на впечатление от всей этой дискуссии встречаются в позднейших письмах Маркса и Энгельса. Так например, в связи с сообщением о переходе Бухера на сторону Бисмарка Маркс называет Лассалю «маркизом Позой укермаркского Филиппа II», а по поводу «завещания» Лассалю он пишет: «Не есть ли это его собственный Зикинген, который хотел принудить Карла V «стать во главе движения»?» и т. д. Характерно, что эти «литературные» отголоски всегда тесно связаны с лассалевским курсом на Бисмарка и с бонапартизмом Лассалю. Еще интереснее то место из одного письма Маркса (выпущенное

в издании Бернштейна), где по поводу лондонского визита Лассалья к Энгельсу Маркс сообщает: «Лассаль приходил в бешенство, когда я и жена высмеивали его планы, дразнили его «просвещенным бонапартистом». Он кричал, неистовствовал, вскакивал и наконец окончательно убедился в том, что я слишком «абстрактен», чтобы понимать что-нибудь в политике»⁵⁸. Очень может быть, что именно невольная, вызванная резкой полемикой его противников «исповедь» Лассалья открыла глаза Марксу и Энгельсу на те тенденции, которые впоследствии привели его к Бисмарку, и облегчила им предвидение этого пути задолго до того, как он был пройден. Во всяком случае после этой дискуссии, в переписке Маркса и Энгельса наблюдается более холодное, более недоверчивое отношение к Лассалю, правда, вызванное и его брошюрой об итальянской войне. Характерно, что Маркс, который, как уже замечено выше, до этих писем считал неизбежным полный разрыв Лассалья с берлинцами, впоследствии оценивал этот период так: «В течение 1859 г. он целиком принадлежал к прусской либеральной буржуазной партии»⁵⁹. К принципиальным вопросам, послужившим темой настоящей статьи, Маркс и Энгельс больше не возвращались. Чрезвычайно содержательные и интересные письма Маркса в ответ на присылку ему «Системы приобретенных прав» сознательно избегают этих вопросов. Именно тесная органическая связь между эстетическими и политическими вопросами, которую мы констатировали как у Лассалья, так и у Маркса и Энгельса, положила всей этой дискуссии внезапный конец.

Г. Лукач

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe u. Schriften. Hrsgb. von G. Mayer. Stuttgart u. Berlin, 1921.

² Название брошюры, вышедшей в 1841 г. из круга левых гегельянцев группы Бруно Бауэра. По предложению Густава Майера, вторая часть этой брошюры («Учение Гегеля о религии и искусстве с точки зрения верующего»), Лейпциг, 1842) написана Марксом. Майеру возражал Неттлау.

³ Там же, Bd. III, S. 375, письмо от 22 июля 1861 г.

⁴ Письмо Лассалья Марксу датировано 6 марта, ответ Маркса — 19 апреля, ответ Энгельса — 18 мая, наконец возражение Лассалья — 27 мая. Это последнее письмо Лассалья Маркс имеет в виду в письме Энгельсу от 10 июня.

⁵ Отметим еще мимоходом, что в 1857 г. Маркс получил от Дана заказ написать для «New-American Encyclopaedia» статью об эстетике. В письмах от 23 и 28 мая 1857 г. Маркс и Энгельс смеются над наивностью Дана, воображающего, что можно изложить такую тему на одной странице

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 205 — 206). Появившаяся впоследствии в этом словаре статья об эстетике конечно не принадлежит ни Марксу, ни Энгельсу.

⁶ Подчеркнуто везде, где не оговорено обратное, самим Лассалем.

⁷ Ferdinand Lassalle, Werke, Bd. I, S. 133, Cassirer, Berlin, 1919.

⁸ Так как историко-литературные интересы стоят здесь для нас на заднем плане, мы можем ограничиться несколькими беглыми замечаниями. Укажем поэтому лишь на «Эстетику» Фишера, которая объявляет задачей современной драмы объединение античности и Шекспира («Aesthetik», Reutlingen u. Leipzig, 1846 — 1858, § 908, Bd. III, S. 1417). Эта программа целиком совпадает с программным заявлением Фр. Геббеля в его предисловии к «Марии Магдалине» (Fr. Hebbel, Werke, Jubiläumsausgabe, Berlin, 1913, Bd. XI, S. 41), где он говорит, что в противоположность античности и Шекспиру начавшаяся с Гете новая драма «внедрила диалектику непосредственно в самое идею».

⁹ Ferdinand Lassalle, Werke, Bd. I, S. 134.

¹⁰ Там же, стр. 133. Совершенно в таком же роде Геббель говорит о Гете, что тот хотя и вступил во владение великим наследием, но не использовал его до конца.

¹¹ «Aesthetik», S. 552 — 553.

¹² Там же, т. II, стр. 231 и сл.; т. III, стр. 580 и сл.

¹³ Наиболее поучительна в этом отношении «Феноменология», где трагедия завершает «опустошение неба» и начинает борьбу философии против богов. Еще яснее высказаны эти мысли в главе «Истинный дух, нравственность», где трагическая эпоха изображается в виде необходимости пролога к «правовому состоянию».

¹⁴ «Aesthetik», Bd. I, S. 315 — 316. (Это место было отмечено и выписано Марксом.)

¹⁵ Ср. «Aesthetik», Bd. II, § 136, где Фишер находит «вполне понятным», что «преимущественными объектами эстетического интереса.. являются жертвы революции, дворянство, трон и т. д. Революция должна после крушения ее первого абстрактного взрыва примириться с природой и преданием... она должна перейти к естественному росту, и лишь грядущее дерево, выросшее таким образом, обещает быть прекрасным» (II том «Эстетики» Фишера вышел в 1847 г.).

¹⁶ Обращение к Геббелю для характеристики общих эстетико-философских предпосылок позиции Лассалля как драматурга оправдывается уже тем обстоятельством, что и до нас некоторые авторы, в особенности Мering, отметили известное сродство (хотя и при противоположных исходных пунктах) в их взглядах на связь между трагедией и революцией. (Ср. соображения Мeringа о «Гигесе» Геббеля и «Зикингене» Лассалля. Werke, Berlin, 1930, Bd. II, S. 48.)

¹⁷ Werke, Jubiläumsausgabe, стр. 42 и 47 — 48.

¹⁸ Werke, Bd. I, S. 135.

¹⁹ Как во многих вопросах, так и здесь Лассаль воображает, что стоит на ортодоксально-гегельянской точке зрения. Ср. его дискуссию с Адольфом Штаром об Аристотеле и трагической вине (письмо Лассалля в «Deutsche Revue», ноябрь 1911 г., и ответ Штара в майеровском издании

писем Лассалья, т. II, стр. 143). В этой дискуссии Лассаль все время ссылается на Гегеля, хотя приведенное им место (продитированное выше и нами) резко противоречит всей его теории. Это не единственный случай, когда Лассаль вынужден вносить в философию Гегеля субъективистски-этические элементы, фиктивизировать Гегеля, хотя сознательно он всегда боролся против этих тенденций, как показывает его полемика с Розенкранцем.

²⁰ Что в этом одно из идеологических оснований понятия «единой реакционной массы» — ясно само собой.

²¹ Этот вопрос выяснится еще больше при рассмотрении полемики о роли крестьян. Разочарование Лассалья по поводу приема, оказанного его «Системе приобретенных прав» Марксом, имеем тот же корень. (Ср. особенно письмо Лассалья Марксу от 27 марта 1861 г. Т. III, стр. 481.)

²² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 398.

²³ Ср. письма Маркса к Энгельсу, относящиеся к 1853 г. (Соч., т. XXI, стр. 468 и 470—471).

²⁴ Там же, т. XXII, стр. 273, а также письмо Маркса к Лассалю (издание Г. Майера, Bd. III, S. 123).

²⁵ Ср. письмо к Энгельсу о «Гераклите»: «В нескольких незначительных замечаниях — так как лишь на фоне недостатков похвала кажется серьезной — я все же намекнул на действительные недостатки работы» (Соч., т. XXII, стр. 340).

²⁶ Маркс говорит: «Все же наш еврейчик и даже его «Гераклит», хотя он и написан очень скверно, лучше чего бы то ни было, чем могут похвастать демократы». Там же, т. XXI, стр. 385.

²⁷ «В то же время его пребывание в Берлине убедило его, что с буржуазной партией такому энергичному парню, как он, делать нечего». Там же, стр. 388.

²⁸ «Aesthetik», Bd. I, S. 246 — 247. Разумеется, когда речь идет о «герое», следует иметь в виду специфически гегелевский взгляд на «доправовое» состояние, на состояние, «предшествующее гражданскому обществу». (Ср. приведенное выше место из «Феноменологии» о трагедии и в особенности «Философию права», § 92, прибавление.)

²⁹ Ср. наряду с вышеприведенным местом в особенности «Aesthetik» § 368. Bd. II, S. 273 — 274. Впрочем для умеренно-либерального Фишера характерно при этом, что через восемь лет после того, как он рекомендовал в качестве темы для трагедии крестьянские войны, он уже отклонил даже тему «Зикинген». «Это был дельный человек, но не герой в высшем смысле слова», пишет он Лассалю 26 апреля 1889 г. (Nachgelassene Briefe u. Schriften, Bd. II, S. 206).

³⁰ «Mein Wort über das Drama» (указ. место, стр. 29 — 30).

³¹ Меринг, как это с ним часто бывает, находится в этом пункте под более сильным влиянием Лассалья, чем Маркса (Mehring, Werke, Berlin, 1930, Bd. II, S. 110).

³² Engels, Der deutsche Bauernkrieg. Elementarbücher des Kommunismus. Bd. VIII, Berlin, 1925, S. 117 — 118.

³³ «Соц.-демократия и временное рев. правительство». Собр. соч., т. VII, стр. 186 и сл.

³⁴ «Bauernkrieg», S. 40.

³⁵ «Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов». Любопытно, что Лассаль нашел это обращение «превосходным» (письмо Марксу от 3 июля 1851 г.).

³⁶ «Плебеев», как выражается Энгельс в «Bauernkrieg», стр. 39 — 40.

³⁷ Мы имеем здесь в виду основные установки Лассаля в его произведениях и политической деятельности. Конечно у него найдется сколько угодно изречений, признающих роль пролетариата и социалистический характер революции (так, он пишет Марксу в письме от 24 октября 1849 г., что ему теперь ясно, «что никакая борьба уже не может быть успешна в Европе, если она не носит с самого начала ярко выраженного чисто социалистического характера» («Nachgelassene Briefe» etc., Bd. III, S. 14 и т. д.). Но дело-то в том, что в основе его литературной и политической деятельности лежит совсем другая концепция революции, и сочетание этих двух концепций может быть только чисто внешним, эклектичным. Мы увидим, что в ответном письме Лассаля это противоречие проступает совершенно ясно.

³⁸ Vorwort F. Lassalle, Werke (Cassirer), Bd. I, S. 130.

³⁹ «Schiller und die grossen Sozialisten» («Neue Zeit», XXIII, Bd. II, S. 154).

⁴⁰ Рецензия на книгу Даумера «Die Religion des neuen Weltalters» в «Обзрении Новой Рейнской газеты».

⁴¹ «Aesthetik», Bd. I, S. 265 — 267.

⁴² Единственное исключение, когда революционер воспринимается Гегелем трагически, составляет судьба Сократа. Но это исключение покоится на основной концепции позднего Гегеля, согласно которой можно сказать, варьируя слова Маркса, что революция существовала, но больше не существует. Сократ оказывается «героем» потому, что он представлял против афинян от имени нового мирового порядка, осуществившегося впоследствии в христианстве, правомерный принцип, который однако афиняне всячески отвергали с таким же правом, так как он разрушал их мировой порядок. «Судьба Сократа таким образом подлинно трагична». Но с осуществлением христианства положение меняется, и Гегель весьма далек от того, чтобы например воспринимать трагически якобинцев («Geschichte der Philosophie», Bd. II, S. 119).

⁴³ «Theorien über den Mehrwert», т. I, стр. 251 (нем. изд.).

⁴⁴ В нашу задачу не входит анализ эстетических взглядов Маркса и Энгельса в связи со всем их мирозерцанием, но ясно, что их высокая оценка Дидро, Фильдинга, Бальзака и т. д. происходит из того же источника и дает вместе с тем ключ к их интерпретации Шекспира.

⁴⁵ Письма к Кугельману от 12/IV и 17/V 1871 г.

⁴⁶ Мы имеем здесь в виду прежде всего Ф.-Т. Фишера, выступившего в своем письме к Лассалю о «Зикингене» с подобными упреками (указ. место, т. II, стр. 207). Меринг правильно отметил в своих «Эстетических очерках» (Mehring, Werke, Bd. II, S. 258 — 259) источники этого «третьего периода немецкого культа Шекспира», стремление заменить путь «от красоты к свободе» (немецкий классицизм) Шекспиром как «поэтом великих политических действий».

⁴⁷ Ср. например «Наука и рабочие», 1863 г.

Die Philosophie
Herakleitos des Dunklen
von Ephesos.

Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der
Zeugnisse der Alten dargestellt

von

Ferdinand Lassalle.

Bei Heraklit ist also zuerst die philosophische Idee
in ihrer speculativen Form anzutreffen. — Hier
sehen wir ihn: es ist kein Satz des Heraklit, den
ich nicht in meine Logik aufgenommen

Deret

Nichtsdestoweniger verdiente Herakleitos, wenn wir
den Dichtern, also den Weltweisen eine bestimmte
Ware, den Preis des Vordrucks.

Boedh.

Erster Band.

Berlin.

Verlag von Franz Duncker.

(B. Besser's Verlagsbuchhandlung.)

1858.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ ТРАКТАТА ЛАССАЛЯ
«ГЕРАКЛИТ ТЕМНЫЙ»

С экземпляра, хранящегося
в библиотеке Института
Маркса-Энгельса-Ленина

48 Ср. то место в самой драме, где Зикинген Лассалю (т. е. не исторический, а революционно-стилизированный Зикинген) заявляет на собрании дворян в Ландау: «Шадите крестьянина! Он готов сбросить с себя поповское иго, которое давит его самого еще тяжелей, чем нас. Не нас, а князей ненавидит он; с нами же, если мы будем действовать справедливо, он помирится легко» (Werke, Bd. I, S. 282). Это приблизительно соответствует взглядам исторического Гуттена или Зикингена, их неспособности «обещать бюргерам или крестьянам что-нибудь положительное», их вынужденности «мало говорить или ничего не сказать о будущих взаимных отношениях дворянства, городов и крестьян, свалив все это на князей и на зависимость от Рима» («Bauernkrieg», S. 81). Но в устах лассалевского героя приведенные слова очень ярко освещают сказанное нами выше.

49 «Bauernkrieg», S. 105 — 106.

50 «Die Vernunft in der Geschichte» («Phil. Bibl.», S. 63 и 76 — 77).

51 Понятно, что например буржуазный биограф Лассалю Г. Онкен усматривает в этом пункте опровержение исторического материализма («Lassalle», 4-te Ausgabe, S. 149 — 150).

52 Меринг правильно указывает в своем комментарии («Nachlass-Ausgabe», Bd. IV, S. 202), что таково было положение Флориана Гейера, а не Зикингена.

53 Последняя фраза подчеркнута нами; у самого Лассалю подчеркнуто только слово «всю».

54 Ср. очень интересное место о возможной революционной стилизации Лютера.

55 Почти все, писавшие об этом письме, расслышали эту бисмарксянски-бонапартистскую нотку. Ср. Меринг, указ. ст., стр. 905; Онкен, указ. место, стр. 153.

56 Напомним впрочем об отмеченной выше связи между концепцией Позы и «революцией сверху».

57 Ср. сделанные выше замечания о противоположности Гегеля и Лассалю в вопросе о необходимости и исторической практике.

58 Письма от 10 декабря 1864 г., 25 января 1865 г., 30 июля 1862 г. и т. д. (Соч., т. XXIII, стр. 225, 230, 87).

59 Письмо к Энгельсу от 12 июня 1864 г. (Соч., т. XXIII, стр. 155).

**ЭНГЕЛЬС
О ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ**

**Переписка
Энгельса
с Минной Каутской**

**Предисловие
ИНСТИТУТА
МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА**

**Комментарии
Ф. ШИЛЛЕРА**

Печатаемое ниже письмо Энгельса адресовано матери Карла Каутского, немецкой писательнице Минне Каутской, известной в 80-х и 90-х годах своими романами на социальные темы. Письмо Энгельса написано в связи с получением им от Каутской экземпляра ее романа «Старые и новые». Печатается по фотокопии, хранящейся в Институте Маркса-Энгельса-Ленина.

Институт Маркса-Энгельса-Ленина

Лондон, 26 ноября 1885 г.

Дорогая г-жа Каутская!

(Разрешите мне это вольное обращение; таким людям, как мы с вами, не к лицу жеманство.) Прежде всего сердечно вам благодарен за дружескую память обо мне. Я очень жалею, что наша здешняя встреча продолжалась так недолго. Уверяю вас, что мне было бесконечно приятно познакомиться с немецкой писательницей, которая не перестала быть обыкновенной женщиной: я ведь имел несчастье знать лишь аффектированных «образованных» берлинок, которых только потому не хотелось вернуть на кухню, что они в конце концов наделали бы суповой ложкой еще больше вреда, чем пером.

Итак я надеюсь, что в недалеком будущем вы снова пересечете канал, и мы с вами опять побродим по Лондону и его окрестностям, рассказывая друг другу всякую всячину, чтобы наша беседа не стала уж чересчур серьезной. Я охотно верю, что Лондон вам не понравился, — со мною когда-то было то же самое. К его сумрачному небу и сумрачным по большей части людям, к замкнутости и классовой разобщенности в общественной жизни, к жизни в закрытых помещениях, как того требуют климатические условия, привыкаешь с трудом. Надо сначала несколь-

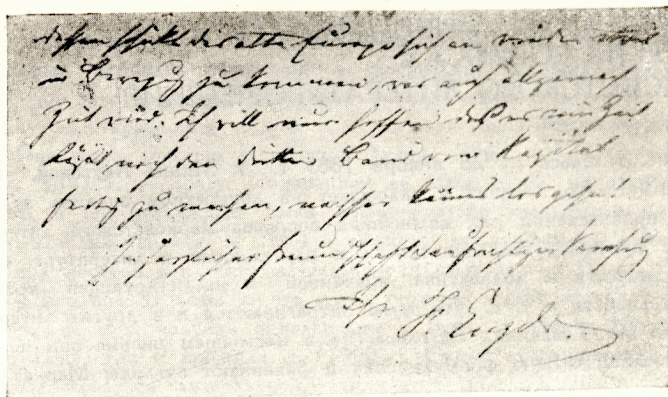
ко обуздать принесенную с собой с континента жизненную энергию, понизить барометр жизнерадостности примерно с 760 до 750 миллиметров, чтобы постепенно втянуться во все это. А когда понемногу свыкнешься с окружающим, начинаешь находить в нем и положительные стороны и видишь, что люди здесь в общем прямее и надежнее, чем где-либо, что ни один город не приспособлен для научных занятий более, чем Лондон, и что отсутствие полицейских придирок окупает многое. Я знаю и люблю Париж, но если бы мне пришлось выбирать, то для постоянной жизни я предпочел бы Лондон. Чтобы всецело наслаждаться парижской жизнью, нужно самому стать парижанином со всеми его предрассудками, с его интересом в первую очередь к чисто парижским делам, с его привычкой верить, что Париж — пуп земли, начало и конец вселенной. Лондон не так красив, как Париж, но зато он величественнее, это — настоящий центр мировой торговли, и к тому же он гораздо разнообразнее. Лондон допускает далее полную независимость от всего окружающего, столь необходимую для научной и даже художественной беспристрастности. О Париже и Вене мечтают, Берлин ненавидят, к Лондону испытывают нейтральное чувство равнодушия и объективности. Это тоже чего-нибудь да стоит.

Кстати о Берлине. Я рад, что этой злосчастной дыре удастся наконец стать мировым городом. Но Рахиль Варнгаген сказала еще 70 лет назад: в Берлине все убого, и Берлин хочет повидимому показать миру, до какой степени убогим может быть мировой город. Отравите всех образованных берлинцев и создайте там чудом хотя бы сносную обстановку, перестройте весь город снизу доверху, тогда быть может и выйдет что-нибудь приличное. Но куда там говорят на этом диалекте, вряд ли это удастся.

«Старые и новые», за которые я вам сердечно благодарен, я прочел. Жизнь рабочих соляных копей описана так же мастерски, как и жизнь крестьян в «Стефане». Картины венского общества большей частью тоже очень хороши. Вена ведь единственный немецкий город, где есть общество. В Берлине имеются только «известные круги», а еще больше неизвестные, и поэтому там есть почва только для романа из жизни литераторов, чиновников и актеров. Не развивается ли мотивировка действия

В этой части вашего произведения местами несколько поспешно, — вам судить легче, чем мне. Многое, что производит на нашего брата такое впечатление, в Вене с ее своеобразно интернациональным характером, насыщенным южными и восточноевропейскими элементами, является вполне естественным. Характеры той и другой среды обрисованы с обычной для вас четкостью индивидуализации. Каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, — «этот», как сказал бы старик Гегель. Так оно и должно быть. Однако беспристрастия ради я должен найти что-нибудь отрицательное, и тут мне приходится на память Арнольд. В самом деле, он чересчур безупречен, и если он в конце концов погибает, упав с горы, то примирить это с поэтической справедливостью можно разве лишь тем, что он был слишком хорош для этого мира. Но всегда скверно, если автор влюблен в своего героя, и мне кажется, что в данном случае вы отчасти поддались этой слабости. Эльза еще носит на себе черты личности, хотя тоже несколько идеализирована, но в Арнольде личность уж и вовсе растворяется в принципе.

Корни этого недостатка чувствуются впрочем в самом романе. Очевидно вы испытывали потребность публично заявить о своих убеждениях, засвидетельствовать их перед всем миром. Это вы уже сделали, это уже осталось позади, и в такой форме вам нечего повторять об этом. Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, и точно так же Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера в том и состоит, что это первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, сплошь тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна вытекать из положения и действия сама по себе, без особых на то указаний и что писатель не обязан навязывать читателю будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов. К тому же в наших условиях роман обращается преимущественно к читателям из буржуазных, т. е. не относящихся прямо к нам, кругов, а поэтому и социалистический тенденциозный роман целиком выполняет, на мой взгляд, свое назначение, добросовестно описывая реаль-



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА
ЭНГЕЛЬСА К МИННЕ КАУТСКОЙ
ОТ 26 НОЯБРЯ 1885 г.

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

ные взаимоотношения, разрушая условные иллюзии на их счет, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнение в вечном господстве существующего порядка, — хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону. Ваше прекрасное знание как австрийского крестьянства, так и венского «общества» и удивительная свежесть изображения того и другого найдет здесь для себя неисчерпаемый материал. А в «Стефане» вы доказали, что умеете относиться к своим героям и с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением.

Но спешу кончить, чтобы не слишком вам наскучить. У нас все по-старому. Карл [Каутский] с женой изучают физиологию на вечерних курсах Эвелинга и вообще прилежно работают; я тоже весь ушел в работу; Ленхен, Пумс и ее муж идут сегодня вечером в театр смотреть сенсационную пьесу, а тем временем старая Европа снова собирается притти в движение, — да и пора. Хочу только надеяться, что она даст мне закончить третий том «Капитала», а там — в добрый час.

С сердечным дружеским приветом и искренним уважением

Ваш Ф. Энгельс.

ЭНГЕЛЬС О ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ И ДРУГИХ ВОПРОСАХ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Письмо Энгельса от 26 ноября 1885 г. к Минне Каутской, матери Карла Каутского, ставит и разрешает на конкретном анализе художественных произведений ряд важнейших вопросов марксистского литературоведения: проблему тенденциозности и партийности в литературе, изображения личности и коллектива, правдивой и идеализирующей трактовки действительности и т. д. Эти темы затрагиваются и в других литературоведческих высказываниях Энгельса, но в настоящем письме они получают исключительно четкую формулировку и развивают взгляды Маркса и Энгельса на литературу и искусство, изложенные в других их работах. Настоящее письмо, хотя в нем разбирается художественное произведение не пролетарского писателя и хотя оно относится к 80-м годам и исходит из задач, стоявших в то время перед литературой пролетарской партии, имеет чрезвычайно актуальное значение и для нашего времени. Энгельс, стесненный рамками частного письма, вынужден давать краткие формулировки, но каждое его указание, даже намек в этом письме приобретают большую важность, если увидеть все скрывающиеся за ними проблемы. Чтобы понять их до конца, прежде всего необходимо хотя бы вкратце ознакомиться с творчеством Минны Каутской в разбираемом Энгельсом романе и уж затем перейти к общим принципиальным проблемам, затронутым в письме, и связать их с теоретическими и политическими вопросами марксистско-ленинского литературоведения.

1

Минна Каутская (1858—1912) была одной из самых плодотворных и популярных писательниц старой германской и австрийской социал-демократии. Она, как выражается Меринг, принадлежала к «старой гвардии» со-трудников «Neue Zeit». Действительно, в 80—90-х годах она писала в теоретическом органе партии на самые разнообразные темы (иногда под псевдонимом Вильгельм Винер); о спиритизме, защите птиц, немецком театре нового времени, выставке картин Василия Верещагина; помещала критические статьи и рецензии (о Ф. Геббеле, Алекс. Килланде), а в литературном отделе журнала опубликовала ряд новелл. Особенно деятель-

ное участие принимала она в беллетристических отделах партийных газет и в популярных журналах германской и австрийской социал-демократии. Большие ее новеллы и романы выходили и отдельными книгами¹.

Минна Каутская вращалась долгое время в аристократически-буржуазной среде. Она была дочерью декоратора Антона Яйша в Граце, переселившегося в 1845 г. в Прагу. Призванием ее была сцена, но отец был против этого, и она вынуждена была ограничиваться участием в любительских спектаклях. Выйдя в 1854 г. замуж за художника Иоганна Каутского, она поступила в театр в Ольмюце и выступала в Праге, Зондсгаузене и Берлине. В 1862 г. она из-за болезни легких оставила сцену; в 1863 г. ее муж получил приглашение в Вену, и Минна Каутская пересехала в Вену, где и прожила до 1900 г. Около этого времени она начинает интересоваться литературой, занимается общественными вопросами и примыкает к социалистическому движению. Первый ее роман, затрагивающий социальные проблемы, — «Стефан фон Грилленгоф»². «Стефан» наиболее революционный ее роман, содержащий реалистическую характеристику крестьянства, его быта, жизни и борьбы.

Этот роман Минна Каутская повидимому послала Марксу и Энгельсу через молодого Карла Каутского, бывавшего в 1881 г. в Лондоне. О том, как они отнеслись к роману, свидетельствует настоящее письмо Энгельса, а также записочка Маркса к Минне Каутской от 3 октября 1881 г., с которой он послал ей рекомендательное письмо к своей дочери Женни Лонге в Париже. Маркс пишет: «Ваш сын верно передал вам, что вся моя семья восхищается вашими произведениями». Некоторую роль в этой оценке сыграла конечно обычная вежливость, но тем не менее нельзя не признать, что в ту эпоху «Стефан» действительно имел большое значение для пропаганды социалистических идей. После того как Минна Каутская побывала у дочери Маркса в Аржентейле под Парижем, Женни Маркс-Лонге в письме от 4 октября 1881 г. к своему мужу, Шарлю Лонге, сообщает ряд интересных сведений о жизни и деятельности Каутской. Вот несколько выдержек из этого письма: «У меня была г-жа Каутская, автор одного из замечательнейших, по мнению папы, современных романов — «Стефан фон Грилленгоф», романа, действительно проникнутого новым мировоззрением с его великими социальными чаяниями. Эта дама писала папе, чтобы узнать о нашем адресе, и была очень разочарована, не застав тебя. Она приехала в Париж из своего спокойного немецкого домика, нарушив привычный уклад своей жизни. В ней нет ничего от *femme de lettres*. Она надеется встретиться здесь с людьми, которые пожелали бы ознако-

мать французскую публику с ее сочинениями (она только что опубликовала вторую книгу)... Ее вторая книга посвящена вопросу о положении женщины в обществе. Теперь она работает над романом, в котором хочет показать необходимость атеизма в наше время...» И, приведя ряд данных из биографии Каутской, Женни передает ее слова о дальнейших ее планах: «Я пристально изучаю Фейербаха, — рассказывала Каутская, — толчок моему развитию был дан извне, я никогда не общалась с людьми современного духовного склада; мое собственное жгучее ощущение царящей в мире несправедливости, медленно усваиваемое знание того, что для борьбы с этой несправедливостью у нас есть теперь научный базис, что это больше не вопрос простого отчаяния и возмущения, — все это заставляло меня писать так, как я пишу». Женни старалась добиться через Талландье и Жоржа Клемансо перевода вещей Каутской на французский язык.

Однако уже в следующем романе Каутской «Властвовать или служить?»³ обнаружилось все ее бессилие изобразить в художественной форме борьбу пролетариата и в частности женский вопрос. Здесь тенденциозность уж слишком обнажена, автор навязывает свои взгляды читателю, образы безжизненны и шаблонны. Этот роман — большой шаг назад по сравнению со «Стефаном». В 1884 г. Минна Каутская опубликовала разбираемый в письме Энтельса роман «Старые и новые»⁴. Когда эта книга в 1885 г. вышла отдельным изданием, она послала ее на отзыв Энгельсу. И вот Энгельс в ответном письме от 1885 г. пишет:

«Старые и новые», за которые я вам сердечно благодарен, я прочел. Жизнь рабочих соляных копей описана так же мастерски, как и жизнь крестьян в Стефане. Картины венского общества большей частью тоже счень хороши... Не развивается ли мотивировка действия в этой части вашего произведения местами несколько поспешно, вам судить легче, чем мне. Многое, что производит на нашего брата такое впечатление, в Вене с ее своеобразно интернациональным характером, насыщенным южными и восточно-европейскими элементами является вполне естественным. Характеристики той и другой среды обрисованы с обычной для вас четкостью индивидуализации. Каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, — «этот» как сказал бы старик Гегель. Так оно и должно быть».

Действительно, лучшими частями романа являются главы из жизни австрийских рабочих соляных копей, живущих под гнетом эксплуатации предпринимателей и моральным давлением церкви, под вечной угрозой

урождения за каждое слово ропота или за «дерзость», проявившуюся в чтении газет или книг. В реалистических тонах выдержаны картины обыденной жизни рабочего поселка. Каждый из изображенных рабочих — индивидуум и вместе с тем тип, как пишет Энгельс; это не образы-схемы, а люди, различные по темпераменту, воспитанию и условиям жизни. Вот старый рабочий Михель, всегда слепо уповающий на бога, никогда ничему не сопротивляющийся, безнадежно-беспомощный и принимающий все так, как оно есть. Вот дровосек Францель, верующий в возмездие на том свете и ищущий успокоения в этой «справедливости». Вот чахоточный Фридер со впалой грудью и ненавистью к эксплуататорам, Фридер, осмеливающийся мыслить, жаждущий справедливости и отомщения здесь на земле, читающий газеты и книги, сознающий классовые корни социального вопроса и этим отпугивающий от себя боязливых неразвитых рабочих. Вот классово сознательный передовой рабочий Георг, знакомый со всей «запрещенной» литературой. Словом, перед нами картина коллектива рабочих с отчетливо очерченными индивидуальностями на различных ступенях классового сознания в ранний период рабочего движения. Так же индивидуализированно очерчены и типы дворянско-помещичьей среды (граф Фалькенау и его родственники), и представитель буржуазного либерализма (барон Рейнталь). Но тем не менее и этот роман — не произведение пролетарского писателя. Для автора борьба «старых» и «новых» не явление борьбы классов, а лишь борьба «двух принципов» — веры и атеизма. К «старым» относятся все те, кто разделяет мрачный аскетический взгляд на жизнь и верит в лучший потусторонний мир, — это фаталисты, безропотно ожидающие смерти. Это — огромная масса трудящегося люда, стонущего под двойным гнетом материальной эксплуатации помещиков и фабрикантов и боязни вечных мук, которую старается вселить в них церковь. Все эти «старые» живут безрадостно, они не знают наслаждений жизни. К ним же автор причисляет и всех своих действующих лиц, эгоистически уверенных в том, что они одни имеют право на счастье, одни могут пользоваться житейскими благами. Таковы например либерально-буржуазный барон Рейнталь или «свободомыслящая» дочь графа Фалькенау Елена, а также консерваторы-помещики.

Всем этим представителям принципа «старого» — феодальным графам-помещикам, буржуазно-либеральным дельцам и огромной массе трудящихся — противостоят представители принципа «нового», проповедующие вместо эгоизма действительную любовь к ближнему, вместо веры в потусторонний мир — веру в мощь науки, в лучшее будущее человечества, вме-

сто мрачного пессимизма — убеждение в собственных силах, любовь к природе, радость жизни. Но «старых» перевоспитывает в «новых» отнюдь не пролетарское мировоззрение, а «прогресс науки» и феербаховский атеизм. Эта тенденция — замена пролетарского мировоззрения общим, расплывчатым понятием о необходимости атеизма и вечном «прогрессе науки» — проходит через все творчество Минны Каутской. «В XIX веке, — пишет она в одной критической статье, — современная наука сделалась движущей, формирующей силой... и таким образом наука, хотя это и не было в ее силах и интересах, вызвала эпоху величайшего капиталистического подъема, эпоху индустриализма и индивидуализма!»⁵ А в дальнейшем, по мнению Каутской, та же наука приведет к победе «нового принципа» — жизнерадостного, жизнеутверждающего мировоззрения. Не связывая борьбу за это новое мировоззрение с активной борьбой рабочих за свое освобождение, она выводит «новый принцип» из имманентного «прогресса науки». Борьба между «старыми» и «новыми» в ее романе превращается в борьбу двух абстрактных, схематических «принципов». При этом Каутская прекрасно знает «старый» мир и реалистически рисует картины из жизни и быта отсталых рабочих, либеральной буржуазии и высших кругов австрийской аристократии. «Новый» же мир ей незнаком, и поэтому ее характеристика «нового принципа» страдает расплывчатостью и неясностью. Его носители — напыщенные, безжизненные, романтические фигуры. Вместо конкретного показа внешних обстоятельств и классовой обусловленности, приведших действующих лиц «нового принципа» к «новому мировоззрению», она дает нам в качестве «рычагов» их развития природу и науку и превращает их борьбу за это новое в тенденциозную декламацию. Главные представители «нового» — дочь свободомыслящего философа Барра Эльза и незаконнорожденный сын барона Рейнталя Арнольд — даны как «воплощения принципа», как готовые схемы идеальных новых людей, стоящих вне общества. Эльзу мы встречаем уже подготовленной к восприятию «нового» воспитанием, данным ей отцом-философом вдали от общества, на одиноком острове. Автор представляет ее нам как «светлую девичью фигурку, в коротком, падающем складками одеянии, которое окутывает ее, как греческий хитон, и перехвачено только поясом... О потустороннем мире она ничего не знала... Созерцание природы, на которую ей открыл глаза отец, окрашивало для нее мир в самые радостные краски». Арнольда автор тоже изображает как юношу с уже сложившимся вне общественной борьбы мировоззрением, который выработал свои «новые принципы» в тиши ученых кабинетов и библиотек Лондона.

Характерен его разговор при прощании со старым отцом Эльзы. Барр говорит Арнольду: «Я хорошо вас знаю, Арнольд: в вас живет как главная страсть вашего существа нечто от того духа общественности, которым некогда обладали ваши языческие предки и который опять стал обнаруживаться вместе с новым мировоззрением». На это Арнольд отвечает: «Ибо это новое мировоззрение коренится в духе общественности, оно есть сознание того, что человек распоряжается своей жизнью самостоятельно, хотя необходимые улучшения и условия общественной жизни могут быть созданы только сотрудничеством всех сил, и только объединенное таким образом человечество может предпринять борьбу против единственного, но могущественного врага — против природы».

Классово сознательными — конечно в интеллигентско-мелкобуржуазном и реформистском понимании Минны Каутской — рабочие становятся тоже не в классовой борьбе пролетариата, а через просвещение и науку. Георг, ученик философа Барра, получивший в наследство его библиотеку, приходит к «новому» мировоззрению путем чтения и самообразования. Он совершенно не показан в процессе социальной борьбы, и когда рабочие соляных копей, услышав о конфискации их книг полицией, поднимают бунт, Георг больше всего озабочен тем, как бы они не расправились со шпиками и не вышли в своем возмущении из рамок законности. «Пропаганда» идеи — вот другой лозунг, который автор противопоставляет насилию. Арнольд — типичный для мелкобуржуазной идеологии образ. Когда граф Фалькенау пытается перетянуть его на службу помещичьей «рабочелюбивой» политике и предлагает ему отказаться от пропаганды самостоятельной рабочей организации, Арнольд отвечает: «Ваше превосходительство, вы требуете невозможного и даже несправедливого, ибо то, что должно свершиться, свершится без насильственной революции, без боя и кровопролития, единственно лишь благодаря пропаганде идей».

2

Сила романа Минны Каутской, повторяем, — в реалистическом изображении жизни и быта рабочих соляных копей и высших аристократических кругов немецкой Австрии. Нереалистичны, схематизированы и идеализированы носители «нового принципа». Арнольд и Эльза нежизненны: оба награждены всеми мыслимыми добродетелями и очарованиями красоты физической и душевной; это какие-то сказочно хорошие люди, и читатель относится к ним с некоторым скептическим восхищением, с трудом

веря в реальную возможность их существования. Энгельс пишет в своем письме об Арнольде: «В самом деле он чересчур безупречен, и если он в конце концов погибает, упав с горы, то примирить это с поэтической справедливостью можно разве лишь тем, что он был слишком хорош для этого мира. Но всегда скверно, если автор влюблен в своего героя, и мне кажется, что в данном случае вы отчасти поддались этой слабости. Эльза еще носит на себе черты личности, но в Арнольде личность уж и вовсе растворяется в принципе».

Эти черты творчества Каутской вытекают из неясности, расплывчатости ее мелкобуржуазно-просветительского мировоззрения. Не стоя на последовательно марксистской точке зрения классовой борьбы, она больше ратовала за «прогресс науки» вообще, за «просвещение народа», за филантропию и жалость к низшим классам населения. Весьма характерно для ее тогдашнего образа мыслей ответное ее письмо Энгельсу. Мы его приводим здесь в отрывках, представляющих интерес для нашей темы. Она пишет из Вены 10 мая 1886 г.:

«Дорогой г-н Энгельс!

Только сегодня собралась я выразить вам свою благодарность за ваше чудесное письмо. Немного поздно, неправда ли? Но знаете ли вы, почему? Потому что, во-первых, я боялась слишком живого выражения моего собственного восхищения (видите, какими осторожными делаются женщины, когда они старятся) и, во-вторых, потому, что я хотела доставить вам успокоительную уверенность в том, что не буду, как того всегда следует опасаться со стороны писательниц, бомбардировать вас письмами.

Ваше письмо, проникнутое такой теплой сердечностью, в котором вы так любовно разбираете мои работы, считая их достойными обстоятельной критики, было для меня самым приятным, самым содержательным и, поскольку оно написано таким человеком, как вы, самым лестным из всех когда-либо полученных мною. Но именно потому, что оно было мне так дорого, я не хотела злоупотреблять своим счастьем. Я всюду тайно носила это ангельское письмо («Engelsbrief»⁶) с собой, как вдруг однажды обнаружила, что не могу его сыскать. Я обшарила свою папку, карманы, ящики моего письменного стола — напрасно. Вы наверное посмеялись бы, если бы видели, как я себя честила и злилась на свою неряшливость. Я уже хотела пожаловаться вам на свое горе, но в то же время говорила сама себе: другого такого письма он тебе больше никогда не напишет. Я была совершенно безутешна, пока в один прекрасный день не нашла его в своем



КАРЛ МАРКС С ДОЧЕРЬЮ ЖЕННИ

С фотографии (1870 г.), хранящейся
в Музее Маркса-Энгельса-Ленина

собрании писем известных людей. Сейчас оно перевязано особой ленточкой, чтобы совсем по-аристократически отличаться от остальных. Только что я его перечла...

Во время моей болезни я много занималась Геббелем — поэтом редкой силы и самобытности и подлинного потрясающего трагизма. Только сентиментальность и бессилие могут упрекать его в том, что грубая сторона природы — единственная область, где он царит полновластно, и что его проблемы безнравственны. Впрочем правильное чутье нравственного и безнравственного кажется давно уже утрачено руководящими кругами. Но истинным отдыхом и умственным освежением я обязана вашей работе о Людвиге Фейербахе. Я прочла ее несколько раз, чтобы вполне усвоить все огромное множество изложенных и обоснованных в ней мыслей. Сколько зла причинил этот ложный идеализм, созданный столь выдающимися мыслителями! И я принадлежала к числу тех, которые одно время носились с ним, теперь же «вещь в себе» сделалась благодаря эксперименту «вещью для нас» — это выражение пришлось мне очень по душе, — а вы и Маркс дали толчок к приложению этого научного метода также и к общественному организму для изучения тех сил и законов, согласно которым он последовательно развивается, согласно которым должен развиваться.

Это — великое учение, и оно тем величественнее, что его основатели сами использовали его для ряда исследований и анализов и уже добились определенных результатов. Я конечно слишком мало понимаю, чтобы судить во всем объеме о том, что здесь готовится и свершается, но я во всяком случае отдаю себе отчет во всем значении этой научной теории общества...

В этом письме Минна Каутская сама вскрывает свое непонимание основ марксизма: Маркс и Энгельс, оказывается, дали только «толчок» к приращению «научного» мировоззрения и в общественных науках! Не разбираясь в действительных движущих силах общественного развития, Каутская страстно борется за «новые» принципы посредством деклараций, схематической тенденциозности, чрезмерной и надоедливой, не вытекающей из развертывания самой ситуации и борьбы общественных сил: тенденция идеализирует носителей «нового принципа», она служит лишь абстрактной пропаганде, она превращена в орудие борьбы идей против идей, оторванных от конкретной, осознанной автором классовой борьбы, и вращается вокруг противопоставления двух абстракций — резко отрицательного и ярко положительного «принципов». Неслучайно указание самой Минны Каутской на свою «учебу» у Геббеля и ее чрезвычайно высокая оценка творчества этого

писателя. Ее изображение борьбы неисторических, абстрактных «двух принципов» в той или иной степени связано с Гегбелем. Это был один из крупнейших представителей эпигонской гегелевской эстетики, которая противопоставляла свободу вообще необходимости вообще, рассматривая положение человека в истории и личности в обществе чисто абстрактно. «Старый» и «новый» принципы Каутской напоминают надысторические категории Гегбеля, одинаково охватывающие все периоды истории. И если Гегбель сводит задачи трагедии к изображению «родовых мук борющегося за новую форму человечества», то у Каутской эту роль борьбы за «новую форму человечества» выполняет абстрактный «новый принцип».

Вот против такого-то понимания тенденции и партийности в литературе и выступает Энгельс — вежливо по форме, но убедительно по смыслу — в своем письме, когда он пишет: «Корни этого недостатка чувствуются впрочем в самом романе. Очевидно вы испытывали потребность публично заявить о своих убеждениях, засвидетельствовать их перед всем миром. Это вы уже сделали, это уже осталось позади и в такой форме вам нечего повторять об этом. Я отнюдь не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами и точно так же Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера в том и состоит, что это первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, сплошь тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна вытекать из положения и действия сама по себе, без особых на то указаний, и что писатель не обязан навязывать читателю будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов».

Это понимание тенденциозности и реализма Энгельсом, — понимание, на котором мы подробнее остановимся ниже, — имеет непосредственно актуальное значение и для нашего времени. Не менее важно, — особенно для современной революционной литературы в капиталистических странах, — следующее место: «К тому же в наших условиях, — продолжает он в письме, — роман обращается преимущественно к читателю из буржуазных кругов, а поэтому и социалистический тенденциозный роман целиком выполняет, на мой взгляд, свое назначение, добросовестно описывая реальные взаимоотношения, разрушая условные иллюзии на их счет, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнение в вечном господстве существующего порядка, хотя бы автор и не предлагал при этом никакого оп-

ределенного решения и даже иной раз не становится явно на чью-нибудь сторону».

Письмо Энгельса к Минне Каутской выдержано в таком же духе, как и другие его письма на конкретные литературно-критические темы (письма к Лассалю, П. Эрнсту и М. Гаркнес), т. е. он отмечает сперва положительные стороны работ автора, в той или иной степени участвующего в социал-демократическом рабочем движении, затем переходит к критике произведения и на ошибках его старается научить писателя, показать слабые его стороны, связывая их с неясностью его мировоззренческих и эстетических предпосылок.

Как же развивалось творчество Каутской после письма Энгельса? ⁸ В это время она не много смыслила в марксизме, о чем и говорит сама в своем ответном письме. В некоторых ее критических работах в «*Neue Zeit*» 80-х годов как будто проскальзывают кое-какие мысли Энгельса. Так, она пишет в статье о норвежском писателе Алекс. Килланде: «Наши эстетики совершенно забывают, что гениальнейшие писатели всех времен были тенденциозными писателями, которые вовсе не интересовались неопределенными и фантастическими явлениями, но скорее взирали на общество открытыми, ясными глазами, признавали его несовершенства и задавали вопрос «почему» и «зачем». Они наносили смертельные удары старому и отжившему и, вооруженные сильной волей, сознательно борясь, выступали на защиту новых, преобразующих идей. Если они теперь уже не считаются тенденциозными писателями, то объясняется это тем постоянно вновь повторяющимся обстоятельством, что преобразование уже произошло и истины и идеи, за которые они боролись, уже вошли в наше развитие, потеряв тем самым свою остроту» ⁹. Но вопрос о тенденции в письме Энгельса поставлен в ином разрезе: речь идет не об историческом месте выдвигаемых каким-нибудь писателем идей и их осуществлении в общественном развитии, а об увязке данной идеи с мировоззрением автора и о методе ее художественного оформления в произведении. Именно здесь Минна Каутская не двинулась вперед: романы «Стефан» и «Старые и новые» так и остались лучшими ее вещами как с точки зрения революционности общего мировоззрения, так и в художественном смысле. Написанные после этого новеллы стоят ниже этих романов. ¹⁰ Популярный в свое время в социал-демократических кругах роман «Виктория» ¹¹ не возвышается даже до уровня «Стефана» или «Старых и новых». Здесь выступает тот же рабочелюбивый мотив в истории жизни молодого художника, достигшего огромной славы, но отказавшегося от

руки красивой и богатой женщины, чтобы жениться на простой фабричной девушке. Вскрывая гниль и фальшь высших буржуазных кругов, Каутская, так и не вырвавшаяся из плена своих мелкобуржуазных филантропических иллюзий, не смогла изжить свою декларативную тенденциозность. Более того: ее развитие в смысле приближения к пролетарской литературе шло не вперед, а назад, и продукция ее скоро нашла себе место в литературе полубульварного рекламного характера, широко распространенной в реформистско-мещанском крыле германской социал-демократической прессы, особенно в популярных беллетристических журналах. Таков ее большой роман из жизни партийных кругов «Елена»¹². Помещение этой вещи в литературном отделе «Форвертса» не мало удивило Энгельса. В письме от 21 марта 1894 г. он пишет своему старому партийному другу в Америке Ф. А. Зорге: «Читал ли ты в «Форвертсе» роман «Елена» бабуси Каутской? Она выводит на сцену массу еще живых партийных товарищей, в том числе Моттелера и его жену; это — плохой оттиск рекламных романов Грегора Самарова¹³ (шпиона Мединга). Я жажду знать, пройдет ли это спокойно; меня до некоторой степени удивляет, что «Форвертс» поместил эту вещь, ведь литературный отдел цензурует мамаша Наталия Либкнехт».

Итак, от мелкобуржуазно-филантропических просветительных романов, как «Стефан» и «Старые и новые», имевших в свое время известное пропагандистское значение для социал-демократии, романов, изобразивших крестьянство и отсталых рабочих соляных копей реалистически и с известной художественной силой, признанной Марксом и Энгельсом, — до полубульварного жанра Самарова — таков творческий путь Минны Каутской. Мещанская путанность ее мировоззрения, прикрывающаяся крикливой тенденциозностью, непризнание или непонимание элементарных основ марксизма привели ее от противопоставления абстрактной борьбы двух идей к мещанско-рекламной литературе.

3

Проведя большую часть своей жизни в Австрии, Минна Каутская в 1900 г. переселилась в Берлин, где близко сошлась с Наталией Либкнехт, Юлией Бебель, Францем Мерингом и другими крупными социал-демократическими работниками. После 1894 г., т. е. после романа «Елена», она написала еще ряд романов и прес¹⁴, но ни одно из этих произведений не стоит на уровне «Стефана» или «Старых и новых». Ее метод неприкрытой тенденции, мещанской сентиментальности, схематизма, подмены дей-

ствительной классовой борьбы столкновением «старого» и «нового» мировоззрений приобрел весьма широкое распространение во II Интернационале. Так писали многие примкнувшие к социал-демократическому рабочему движению выходцы из среды мелкобуржуазной интеллигенции. Теоретики литературы и искусства во II Интернационале на Западе не занимались, как следовало бы, перевоспитанием этих «попутчиков». Не говорим уже о правых и центристских теоретиках на Западе (у нас к ним принадлежал например Троцкий), но даже наиболее левый критик II Интернационала Ф. Меринг говорил, что от писателя нельзя требовать, чтобы он стоял на «узко»-партийных позициях и чтобы он был марксистом. При жизни Каутской большим уважением кроме Меринга в области литературы и искусства пользовались теории В. Морриса. Э. Вандервальде. К Каутского и статьи в международном теоретическом органе марксизма «Neue Zeit». Для лучшего понимания творчества Минны Каутской и уяснения связи его с теорией искусства II Интернационала необходимо вкратце остановиться на главнейших представителях этой теории.

Прежде всего Моррис, Вандервальде и Карл Каутский все сходятся на том, что до построения социалистического общества литературе и искусству не суждено играть какой-нибудь значительной роли в борьбе пролетариата за свое освобождение, ибо «во время борьбы музы молчат». Классовая борьба неизбежно убивает искусство, для его создания нужны покой и свободное развитие индивидуальности. Эти теоретики приписывают искусству лишь потребительскую роль, понимая его как наслаждение, но не как одно из средств борьбы. О пролетарском, партийном искусстве нет речи, можно говорить только о «народном» искусстве. В. Моррис, мелкобуржуазный эстетствующий индивидуалист, говорил в своем докладе «Эстетика жизни» (1896): «Вполне справедливо мнение, что люди, занятые духовным творчеством, не могли бы предаваться ему, если бы у них не было сильного стремления уединиться со своим гением в сфере высокой культурности и жить жизнью в стороне от человечества, которое они презирают. Они живут как бы в неприятельской стране; на каждом шагу они наталкиваются на предметы, оскорбляющие их изощренные чувства и утонченные взгляды. Они должны разделять общее чувство недовольства, — и я очень рад этому». Такова роль художника-протестанта в классовом обществе; тут, по Моррису, важна именно индивидуалистическая сущность художественного творчества, которая должна спасти искусство в эпоху господства техники и вытеснения художественных произведений нехудожественной продукцией.

3 October 1881.

41 Marlborough Road.
London. W.

Hochwuerdige Frau,

Ihre gute Mueie einliegend einige Zeilen fuer meine Tochter - Auguste
abzugeben, welche bei Paris, ungefähr 20 Minuten Reize von der
Gare St. Lazare.

Schwerer wie ich es habe, da zu einem Aufenthalt in einem Haus in
London einzuladen, - in der That wird sie nicht haben, um sich
die ganze Familie der Werke zuwenden - wenn nicht eine schlechte
Wirkung fuer die finanzielle Krankheit meiner Frau zu sagen, unser Verkehr
mit der Ausscheidung unterbrochen.

Alles an der bestmöglichen Wünsche fuer die
Wohlfahrt

Me ergebener

Karl Marx

ЗАПИСКА МАРКСА К МИННЕ КАУТСКОЙ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1881 г. ОБ ЕЕ РОМАНЕ «СТЕФАН»

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

Такие же приблизительно мысли развивает и Эмиль Вандервельде в ряде статей и в своей книжке «Социализм и искусство». «Между тем как экономическое производство, — пишет он, — является преимущественно областью дисциплины, концентрированной деятельности, коллективной организации труда, — художественное произведение требует, наоборот, наиболее полной и безусловной свободы индивидуального работника. Этим объясняется главным образом, почему многие художники, придерживающиеся революционных убеждений, выказывают такую склонность к анархизму»¹⁵. Другими словами: методы марксизма не суть методы искусства. Вандервельде объясняет нам также, почему не может быть создано новое искусство до построения социалистического общества: «В эпохи революционных переворотов реальная деятельность развивается в ущерб идеологической; эстетические формы переживают общественные условия, породившие их; новое искусство не может возникнуть прежде, чем возникнет новое общество»¹⁶. А. В. Моррис пишет, что «когда не будет больше борьбы и кровопролития, когда возникнет искусство, созданное народом и для народа, дающее радость и творцу художественного произведения, и тому, кто им наслаждается, — тогда лишь можно будет говорить об истинном искусстве».

Вандервельде, видите ли, не совсем отвергает социалистическое искусство до построения социалистического общества. Цель искусства — наслаждение, а не борьба, но все же «воинствующий социализм» не должен «отказываться от вопросов искусства и отсылать к «социальной революции» художников, желающих улучшить свое положение, и рабочих, жаждущих духовной жизни». И Вандервельде предлагает связать эти проблемы с реформистским решением вопроса о заработной плате и о рабочем дне, т. е. заниматься просветительством в рамках буржуазной культуры, приобщив рабочий класс к наслаждению буржуазным искусством в народных домах, на «народных спектаклях», вечерних лекциях и т. д. В необходимости подобной проповеди буржуазного культурничества убеждают Вандервельде и существующие «образцы этого народного искусства», например песни коммунаров Клемана и Потье, или «сентиментальные картинки, встречающиеся на первой странице первомайских листов и других социалистических иллюстрированных изданий». И он думает, что «воинствующий социализм» переходного периода может вложить свое содержание в старые формы буржуазного искусства, ограничиться «надеванием красного фригийского колпака на головы богинь», ибо, констатирует он, «при выражении революционных идей авторы ревностно придержива-

ются форм прошлого. Трудно придумать что-нибудь более рутинное, более подражательное, чем большинство пластических или литературных изображений социалистического идеала».

Довольно много писал по вопросам литературы и искусства и Карл Каутский. В главе «Искусство и природа» в книге «Размножение и развитие в природе и обществе» он рассматривает искусство прежде всего как противодействие растущему однообразию материального труда, как стремление дать человеческому духу то разнообразие в деятельности, которого требуют прирожденные склонности человека. Он еще больше, чем Вандервельде, смотрит на искусство только как на предмет потребления и наслаждения. «Чем больше растет производительность труда,— пишет он,— чем больше она оставляет человеку времени для производства излишков или для увеличения досуга, тем больше он употребляет свою производительную силу не только на изготовление необходимых средств потребления, но и на производство средств наслаждения, которые приносят ему более сильные и разнообразные возбуждения»¹⁷.

Но Каутский вносит сюда еще два «новых» момента: это 1) биологическое начало искусства и 2) его стремление к установлению равновесия сил. Эстетическое чувство, по мнению Каутского, не есть продукт культуры, а прирождено человеку. Но человеку прирождено не только чувство наслаждения разнообразием, но и стремление к единству картины, в которой синтезируется это разнообразие. «В самой природе, от которой человек получает свои сильнейшие эстетические впечатления, он всюду находит равновесие сил или, скорее, тенденцию к постоянному восстановлению то и дело нарушаемого равновесия. Как в отдельном организме, так и в системе организмов каждая часть необходима для восстановления равновесия целого, каждая часть играет определенную роль в общем процессе. Поэтому на нас производит эстетическое впечатление только такое разнообразие, в котором все детали представляют единое целое и каждая вносит свою долю в общий результат, который представляет состояние равновесия или движение в сторону восстановления нарушенного равновесия»¹⁸.

В своем разнообразии и необходимой связи частей, действующих друг на друга для сохранения и установления равновесия, художественное произведение, по мнению Каутского, подражает природе. Оно отличается от нее тем, что служит определенной цели, в то время как природа не знает никаких целей. Однако «всюду мы наталкиваемся на природу как на первичный источник искусства. Напротив, область последнего конча-

ется там, где техника и экономия начинают развивать свое стремление к упрощению и нивелировке. Где господствует экономия и доводит технику до наивысшей степени, там прекращается искусство».

Правда, этот антагонизм между искусством и экономией не уничтожает эстетической потребности; но экономика ведет к однообразию, а эстетика вызывает стремление к разнообразию. У пролетариата все больше развивается потребность в науке и искусстве. «Но это еще не равносильно развитию особенного пролетарского искусства, которое должно превзойти буржуазное. Те определенные условия, которые убивают или, скорее, все больше заглушают в буржуазии эстетическое чувство, мешают его развитию также и в пролетариате. Вот почему вряд ли можно ожидать, что разовьется новое пролетарское искусство, которое будет выше буржуазного. Не пролетариат создаст новую эпоху в искусстве. Наоборот, она будет создана только с исчезновением пролетариата¹⁹. А пока Каутский советует пролетариату принять большее участие в наслаждении буржуазным искусством. Эта ликвидаторская, буржуазная по существу «теория» искусства Каутского и Вандервельде, вытекающая из их философской концепции и тесно связанная с их политическими взглядами, имела большое влияние в правых и центристских кругах II Интернационала; с ней же соприкасается и «теория» Троцкого.

На страницах «Neue Zeit» 80—90-х годов и позже появляется множество статей по вопросам литературы и искусства. В этих статьях встречаются очень часто (Каутский был главным редактором) взгляды, соприкасающиеся с точкой зрения Морриса, Вандервельде и Каутского. Имеется также большое количество статей дискуссионного характера (особенно в связи с Золя и немецкими натуралистами). С 90-х годов, со вступлением Меринга в партию, начинается огромное его влияние, сказывающееся прежде всего в большом подчеркивании классового характера литературы и искусства и их общественно-политической роли в классовой борьбе; но в 80-х годах преобладала точка зрения Каутского в «Neue Zeit». Характерно, что ряд авторов ожесточенно отрицает действительность и партийность искусства. Так Росус, против писаний которого резко высказался Энгельс, требует, чтобы социалистическая литература была надпартийной²⁰. Другой автор в 1883 г. пишет в «Neue Zeit»: «В общем же не надо предъявлять поэтам слишком строгих требований в отношении политической ясности»²¹. Сам Каутский в своей статье об утопическом романе выступает против утопии, но она «вполне безвредна и ее отнюдь не следует отвергать, пока она не притязает на определяю-

щее воздействие на действительность, на политические и экономические бои рабочего класса, пока она хочет быть только отраслью социалистической поэзии»²², т. е. пока она аполитична.

В то же время мы встречаем в «Neue Zeit» и статьи, ставящие вопрос о боевой тематике, активно-политическом воздействии, подчеркивающие огромное значение литературы для борьбы рабочего класса (Юлии Цадек, Р. Швейхеля, Э. Венграфа и др.). Эти требования особенно усилились в связи с литературно-критическими работами Меринга и образованием «левой» в германской социал-демократии. Но действительно марксистской постановки вопроса о партийности литературы, как его поставили Ленин и большевики, нет и в этих статьях: от кантианского и полуменьшевистского баласта не свободны даже статьи самого Меринга. И он недооценивал значение литературы в переходный период. Именно таким взглядом на литературу объясняется его определенное сочувствие к творчеству Минны Каутской, хотя он и признавал ошибочность ряда ее положений. В некрологе о ней он пишет о ее романах: «С художественной точки зрения в них многое безусловно заслуживает порицания: иногда шаблонный остов действия, слишком безупречное великолепие любовной пары или другие условные вспомогательные средства... Эту писательницу создало не только сердце, но и гнев. И если у нее тенденция иногда разбивает художественные рамки, то это вследствие интересных мыслей, которые она — разумная женщина, вкушившая сладость и горечь жизни, — щедро черпала из кладезя своего богатого опыта... Ее сочинения останутся, правда, не в хранилище драгоценностей классической литературы, но зато в великой сокровищнице, тающей человеческие документы освободительной борьбы, участие в которой было ее радостью и гордостью»²³.

Предсказания Меринга о значении художественного творчества Минны Каутской несколько не оправдались. Предпринятое собрание ее сочинений²⁴ было прервано повидимому мировой войной; ее романы уже давно потеряли всякую актуальность как в тематическом, так и художественном отношении; народнически-просветительская их тенденция, сыгравшая определенную роль в 80—90-х годах в среде буржуазной и мещанской интеллигенции, больше никого не интересовала; оторванные от конкретного хода развития классовой борьбы пролетариата, художественно слабо оформленные, втиснутые в узкие схемы эти романы преданы забвению.

Судьба творчества Минны Каутской характерна для многих примкнувших к рабочему движению мелкобуржуазных социалистических писателей эпохи II Интернационала, а также для реформистских писателей, вышед-

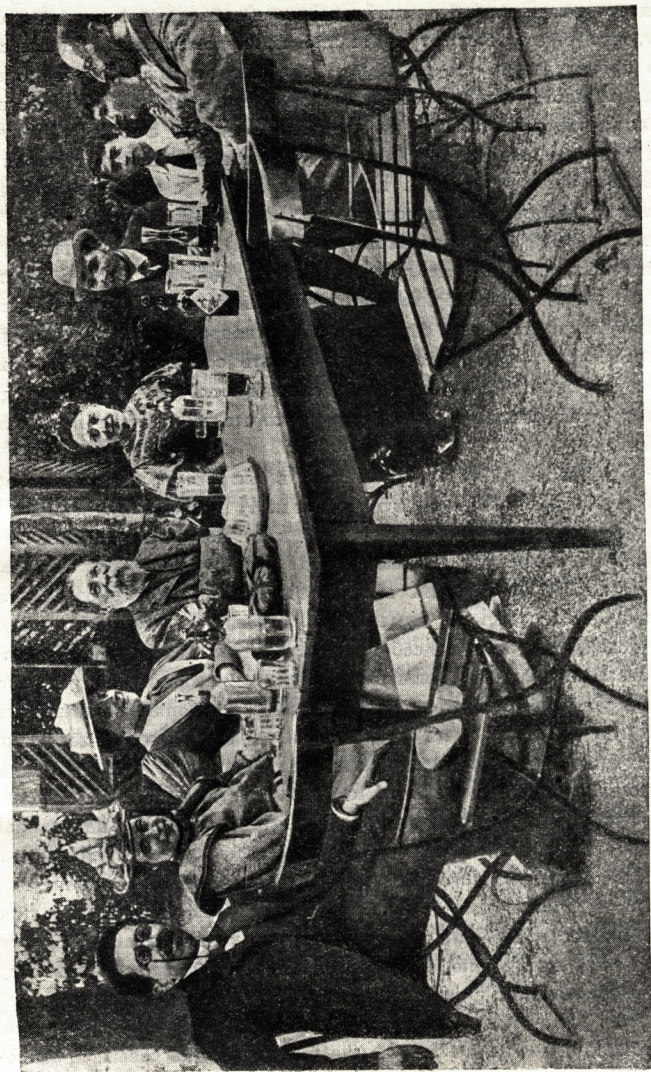
ших из пролетариата. Как мы говорили выше, с примкнувшими к социал-демократии писателями никакой политико-воспитательной работы не велось.

А раз методы искусства не суть методы марксизма, раз переходный период от капитализма к социализму не может быть периодом творческим, раз пролетарская литература до захвата власти пролетариатом вообще невозможна, раз задача социалистического писателя состоит в «надевании красного фригийского колпака на головы богинь», — то вполне понятно, что эти мелкобуржуазные «попутчики» писали или в духе лево-буржуазного творчества, или же обслуживали ежедневные нужды и очередные празднества социал-демократии лозунговой поверхностно-тенденциозной литературой, которая становилась все более реформистско-мещанской по мере превращения германской социал-демократической партии в партию оппортунистическую.

Были конечно и мелкобуржуазные, и рабочие поэты, связанные с левым крылом партии, выступавшие с революционными, классово заостренными лозунгами. Но Минна Каутская принадлежала не ко второй, а к первой категории писателей.

4

В письме Энгельса к Минне Каутской поставлен и разрешен ряд важнейших проблем марксистского литературоведения. И здесь, как и во всех других своих литературно-критических высказываниях, Энгельс заостряет вопрос о роли мировоззрения и партийности в литературе и искусстве. С первого же своего выступления как критика-марксиста в работах о поэзии «истинного социализма» 1845—1847 гг. и до самой смерти в 1895 г. Энгельс все время подчеркивал огромную роль мировоззрения. Все величайшие создания мировой литературы насквозь проникнуты мировоззрением определенных общественных классов. И чем ярче и четче художественное оформление этого мировоззрения в произведении, тем это произведение ценнее. Наоборот, эмпиризм, любование деталями, замена историзма своевольными философскими конструкциями, замена реалистического изображения действительности и борьбы классов идеализирующими действительность фантазиями, замена партийности крикливой субъективистической тенденциозностью — все эти черты, например в творчестве поэтов «истинного социализма», Энгельс связывает с неясностью и мещанской сущностью их мировоззрения и с недоразвитостью общественных классовых противоречий в тогдашней Германии.



ЭНГЕЛЬС В КРУГУ ДЕЯТЕЛЕЙ
ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Сидят слева направо: д-р Вернер Симон, Фрида Бебель-Симон, Клара Цеткин, Фридрих Энгельс, Юлия Бебель, Август Бебель, Эрнст Шатнер (пасынок Бернштейна), Регина Бернштейн, Эдуард Бернштейн

С фотографии (1893 г.), хранящейся
в Музее Маркса-Энгельса - Ленина

Тут, в письме к Каутской, можно на первый взгляд подумать, что Энгельс не придает значения партийности в литературе и даже как будто считает, что она влияет отрицательно на художественную ценность литературного произведения. Но на самом деле это не так. «Очевидно вы испытывали потребность,— пишет он Каутской,— публично заявить о своих убеждениях, засвидетельствовать их перед всем миром. Это вы уже сделали, это уже осталось позади и в такой форме вам нечего повторять об этом» (разрядка моя. — *Ф. Ш.*). Если припомнить, с каким путанным, мелкобуржуазным, народнически-просветительским мировоззрением (вера в «прогресс науки» вообще и фейербаховский атеизм) писала Минна Каутская свой роман «Старые и новые», то станет ясно, почему Энгельс просил ее «в такой форме» не повторять изложения своих партийных взглядов. Ибо по Каутской выходило, что социальные противоречия и борьбу общественных групп «старого» мира следует изображать с некоторым объективным реализмом и к нему уже пристегивать схематически-тенденциозных декламаторов, носителей «нового принципа», которые и должны выражать партийные идеи автора.

С вопросом о мировоззрении и партийности в литературе теснейшим образом связана проблема тенденциозности. И настоящее письмо Энгельса из всех его высказываний на эту тему дает пожалуй наиболее четкую формулировку его взгляда. Устанавливая, что все великие писатели от античной Греции до конца XIX в. были насквозь тенденциозны, Энгельс однако прибавляет: «Но я думаю, что тенденция должна вытекать из положения и действия сама по себе, без особых на то указаний и что писатель не обязан навязывать читателю будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов». Это опять-таки значит, что мысль, которую писатель хочет доказать, не должна носить характера субъективного проповеднического навязывания читателю или зрителю определенной тенденции, не вытекающей из самого действия. В этом отношении наверно представляла бы значительный интерес пьеса, написанная Энгельсом в 1847 г. и поставленная на сцене Брюссельского немецкого рабочего союза. По словам одного рабочего, члена «Союза коммунистов», присутствовавшего на постановке этой пьесы, она с удивительной ясностью показывала неизбежность событий, наступивших несколько месяцев спустя, в феврале 1848 г. К сожалению эта вещь не дошла до нас. Но из всех сохранившихся высказываний Энгельса по вопросам драмы и из всего его понимания природы художественного творчества вообще можно заключить, что пьеса была написана именно в духе изображения классовых противо-

речий того времени, что «будущее историческое разрешение общественных конфликтов» не «подавалось читателю в готовом виде», не навязывалось зрителю в каком-либо заключительном монологе, а вытекало из «ситуации и действия».

Особенно типичными представителями субъективно-идеалистической тенденциозности Энгельс считал писателей так называемой «молодой Германии». Из многочисленных его высказываний об этой «школе» приведем здесь лишь отзыв из «Революции и контрреволюции в Германии», поскольку он имеет непосредственное отношение к нашей теме. Характерно при этом, что и их тенденциозность Энгельс связывает с неясностью, путанностью, нерешительностью их мировоззрения. «На германской литературе, — пишет он, — тоже отразилось политическое возбуждение, в которое события 1830 г. ввергли всю Европу. Грубый конституционализм или еще более грубый республиканизм проповедывались почти всеми писателями того времени. Все более и более входило в привычку, особенно у литераторов низшего разбора, пополнять недостаток литературного искусства в их произведениях политическими намеками, которыми обеспечивался успех у публики. Стихотворения, повести, рецензии, драмы, всякие литературные произведения были переполнены так называемой «тенденцией», т. е. более или менее робкими выражениями противоправительственного духа. В довершение путаницы понятий, воцарившейся после 1830 г. в Германии, к этим элементам политической оппозиции примешивались плохо переваренные университетские реминисценции немецкой философии и непонятые крохи французского социализма, особенно сен-симонизма. И клика писателей, преподносивших публике эту мешанину, кичливо называла себя «молодой Германией» или «новой школой». Позднее они раскаялись в своих юношеских грехах, но манера их писания не улучшилась от этого»²⁵.

С вопросами мировоззрения, партийности и тенденции очень тесно связаны, далее, вопрос об изображении в художественном произведении личности и коллектива, характера индивидуума и массы, единичного и общего, идей эпохи и их конкретных носителей. И по поводу этих проблем Энгельс в письме к Каутской дает яркую формулировку того, как пролетарский художник должен изображать единичное и общее, личность и классовый тип. «Характеры той и другой среды обрисованы с обычной для вас четкостью индивидуализации. Каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, — «этот», как сказал бы старик Гегель. Так оно и должно быть». Этого взгляда Энгельс, как впрочем и Маркс, придерживался всю жизнь. Наиболее развернуто он дал свое понимание

этих вопросов в письме к Лассалю от 18 мая 1859 г., опять-таки на примере конкретного разбора драмы последнего «Франц фон Зикинген».

Энгельс и Маркс стояли за большое реалистическое искусство с широким охватом действительности, с реалистическим изображением различных типов и характеров. И, исходя из этого, они соответственно ориентировались на литературное наследство прошлого. Но значит ли это, что они отрицательно относились к актуально-политической поэзии или недостаточно оценивали ее и вообще «малые формы» литературы на «злобу дня»? Ставить так вопрос — означало бы противоречить всей литературной политике и практике Маркса и Энгельса за все время их деятельности. Наравне с требованием большого реалистического искусства Маркс и Энгельс, начиная уже с первой редакторской практики молодого Маркса в старой «Рейнской Газете» (1842—1843), постоянно требовали от поэтов рабочей партии и революционных писателей-попутчиков резко выраженной борьбы с противниками, требовали от них острых стрел сатиры, разоблачительного анализа, срывания масок с врагов; они требовали от поэтов партии четкой партийности и актуально-политической тематики. Обо всей этой их литературной практике как нельзя яснее свидетельствует их отношение к таким насквозь «тенденциозным» поэтам, как Гейне, Гервег, Фрейлиграт и Веерт. И недаром центральный орган партии, в 1848—1849 гг. редактируемая Марксом и Энгельсом и другими «Новая Рейнская Газета», имел самый заостренный, самый разоблачительно-сатирический, самый злободневный, «фельетонный» литературный отдел из всех тогдашних газет. Для Маркса и Энгельса партийная газета была немыслима без политических стихов на злобу дня и литературных «малых форм». Так например, когда Маркс в 1859 г. начал принимать участие в редактировании лондонской немецкой эмигрантской газеты «Volk» и Фрейлиграт, сблизившийся в это время с противником Маркса Г. Кинкелем не работал в этой газете, то Маркс в письме от 13 августа 1859 г. пишет Энгельсу: «Не мог ли бы твой родственник Зибель²⁶ — хотя я не очень высоко ценю его поэзию — написать небольшое стихотворение для «Volk», только не патетическое. Чтобы раззадорить Фрейлиграта, мы должны во что бы то ни стало пустить в ход какого-нибудь поэта, хотя бы нам самим пришлось подбирать ему рифмы». И Маркс и Энгельс действительно, как мы это знаем из истории их взаимоотношений с Гейне, Фрейлигратом, Гервегом, Веертом, Э. Джонсом и другими, воспитывали их идеологически и несколько не во вред художественной ценности их творчества, — наоборот, как раз те

их произведения, которые были написаны под непосредственным влиянием Маркса и Энгельса, являются величайшими достижениями этих поэтов и в художественном отношении. Но Маркс и Энгельс не отказывались от своего понимания тенденции и в применении в литературе «малых форм» и злободневной политической поэзии. И здесь например Энгельс проводит четкую грань между революционной разоблачительной сатирой и сатирой ограниченной, субъективистически навязываемой поэтом, не разбирающимся в действительных социальных причинах высмеиваемого им «зла». Так, разбирая в 1847 г. стихотворение мещанско-«социалистического» поэта К. Бека «Песня барабанщика», Энгельс пишет: «Та же тема у Гейне была бы горькой сатирой на немецкий народ; у Бека же получилась лишь сатира на самого поэта, отождествляющего себя с немощно мечтающим юношей. У Гейне мечты буржуа намеренно были бы взвинчены, чтобы затем упасть до уровня действительности. У Бека сам поэт солидаризируется с этими фантазиями и конечно терпит ущерб, когда низвергается в мир действительности. Первый вызывает в буржуа возмущение своей дерзостью, второй успокаивает его родством душ»²⁷.

Маркс и Энгельс не ставили вопрос в такой плоскости: или большое эпическое реалистическое искусство — или актуально-политическая поэзия и злободневные «малые формы»; и та и другая литература, согласно их взглядам, играла определенную роль в классовой борьбе. Они не ставили также вопроса о литературном наследстве прошлого в разрезе высокой оценки творчества только таких писателей как Шекспир, Гете, Бальзак, и отрицательного отношения к Вольтеру, Дидро, Гейне. Нет, они ценили и тех и других, одних в большей степени, других в меньшей. Одни из этих писателей подходили ближе к их взглядам на правильную трактовку индивидуума и типа, личности и класса, на тенденциозность и т. д., другие — дальше; одни склонялись к одним жанрам литературы, выдвигаемой Марксом и Энгельсом, другие — к иным. Четкие высказывания Энгельса в письме к Каутской об индивидууме и типе, о тенденции и ее выражении в литературе показывают еще раз ошибочность творческих лозунгов пролеткультовских, лефовских и литфронтовских теоретиков о противопоставлении абстрактной личности коллективу, растворении «отдельных персонажей» в «комплексах событий»; они доказывают ошибочность литфронтовского отождествления личности с капелькой, тонущей в потоке (коллективе), схематичного изображения положительного и отрицательного; они показывают также ошибочность лозунга «живого человека» и замыкания в психологии индивидуума; равным образом высказы-

вания Энгельса в этом и других его письмах несовместимы с лефовским «сбрасыванием классиков с корабля современности» или односторонней ориентировкой на великих реалистов (Толстой), или на публицистически-заостренных писателей (Вольтер, Гейне и др.). В частности из указания Энгельса на революционные драмы юного Шиллера явствует, что голое противопоставление «романтизма» и «реализма» как творческих методов «субъективного идеализма» и «объективного реализма» неправильно, не говоря уже о том, что представителем первого Шиллер может считаться в полной мере только в «Дон Карлосе», но отнюдь нельзя огульно отождествлять его творческий метод периода «бури и натиска» с классицизмом.

Еще одно место следует подчеркнуть в письме Энгельса к Каутской. Это то, где он говорит: «В «Стефане» вы доказали, что вы умеете относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением». Из этого замечания вытекает, что, согласно Энгельсу, идеи в произведении — это мировоззрение, которое дает всей вещи ее направленность. Замечание это целиком противоречит утверждениям переверзевской школы, что кроме идей в образах в художественном произведении нет никаких других идей.

По богатству мысли и четкости формулировок ряда положений марксистского литературоведения письмо Энгельса к Минне Каутской является одним из важнейших литературоведческих документов, оставленных нам основоположниками научного социализма.

Ф. Шиллер

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Первая книга М. Каутской — историческая драма «Madame Roland». Wien, Rosner, 1878 (2. Auflage, Leipzig, 1883).

² «Stefan von Grillenhof». Roman von M. Kautsky. 2 Teile («Neue Welt» — Novellen).

³ «Herrschen oder dienen?» Roman in 2 Bänden, Leipzig, Reissner, 1882.

⁴ Первоначально этот роман был напечатан в беллетристическом журнале германской с.-д. партии «Die Neue Welt» (1884), а затем вышел отдельной книгой: «Die Alten und die Neuen». Roman, 2 Bänden. Leipzig, Reissner, 1885.

⁵ M. Kautsky, Das deutsche Theater der Neuzeit («Neue Zeit», Jg. II, 1884, S. 107).

⁶ Игра слов: означает «письмо Энгельса» и «ангельское письмо».

[illegible]

Roman von H. Sautsdy.

အသံအသံ အသံ အသံ အသံ အသံ

အရပ်ရပ်က နေထိုင်နေကြရသူ

Erstreckt alle 14 Tage in Seiten a 25 Blättern und ist auch alle Buchbindungen und

Städtisches Unterhaltungsblatt für das Volk.

• 10 •

1884.

Wanderers

⁷ Интересно отметить хорошее знакомство Энгельса с русской литературой второй половины XIX в.; кого он здесь именно имел в виду — трудно сказать, но известно, что он читал в оригинале роман «Что делать?» Чернышевского и произведения Щедрина. Кроме того он основательно проработал Державина, Пушкина и Грибоедова. Вообще же «Энгельс и русская литература» — особая тема.

⁸ На ряд ошибок в романах Каутской указывает и Юлия Цадек-Ромм в рецензиях в «Neue Zeit», Jg. II, 1884, S. 249 — 250, 538 — 544.

⁹ «Neue Zeit», Jg. VII, 1889, S. 205.

¹⁰ См. новеллы, напечатанные в «Neue Zeit»: 1) «Später». Sociale Studie. (Jg. IX, 1891, Bd. I.); 2) «Der Pariser Garten». Novelle (Jg. IX, 1891, Bd. 2); 3) «Die Brillanten des Kardinals» (Jg. XV, 1897, Bd. 2).

¹¹ Minna Kautsky, Victoria. Roman. Zürich, Verlags-Magazin, 1889. (2 Aufl. Stuttgart — Dietz, 1900).

¹² Minna Kautsky, Helene. Roman. Stuttgart — Dietz, 1897 (2. Aufl. ibid., 1900).

¹³ Грегор Самаров — псевдоним Оскара Мединга (1829 — 1903); в 40-х гг. принимал участие в студенческом движении в Гейдельберге (кор. «Сакс-бурессия»), во время реакции работал в отделе печати прусского министерства Мантейфеля, затем на службе у ганноверского короля; «следил» впоследствии за «настроениями» ганноверских эмигрантов в Париже. После 1871 г. написал свыше шестидесяти романов рекламного-сенсационного характера.

¹⁴ См. Minna Kautsky, In der Wildnis; Preislustspiel (1882); Sie schützt sich selbst, Lustspiel (1892); Die Eder-Mitzi, Volksstück (1895); Im Vaterhause, Roman (1904); Die Leute von St. Bonifaz, Roman (1909).

¹⁵ Эмиль Вандервельде, Социализм и искусство. Перевод Е. и И. Леонтьевых. Пг., 1917, Кн-во «Жизнь и знание», стр. 55.

¹⁶ Там же.

¹⁷ К. Каутский, Размножение и развитие в природе и обществе. Москва, 1923. Собр. соч., т. XII, стр. 107.

¹⁸ Там же, стр. 108.

¹⁹ К. Каутский, Размножение и развитие в природе и обществе. Москва, 1923, Собр. соч., т. XII, стр. 115.

²⁰ Rosus, Hat unsere Literatur eine neue Blüte zu hoffen? («Neue Zeit» 1883, S. 364).

²¹ W. B., Wiener Poeten während des Jahres 1848 (ibid, S. 472).

²² «Der Jungste Zukunftsroman» (ibid, 1889, S. 268).

²³ F. Mehring, Minna Kautsky («Neue Zeit», Jg. XXXI, Bd. I, S. 457—458).

²⁴ Minna Kautskys gesammelte Schriften. Volksausgabe. Nürnberg, Fränkische Verlagsanstalt, 1914, Bd. 1—2.

²⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Революция и контрреволюция в Германии, М.-Л., 1929, стр. 14.

²⁶ Радикальный рейнский поэт Карл Зибель, находившийся в это время в Манчестере у Энгельса.

²⁷ Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 126.

**ЭНГЕЛЬС
О БАЛЬЗАКЕ**

**Переписка
Энгельса
с Маргарэт Гаркнес**

**Предисловие
ИНСТИТУТА
МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА
Комментарии
Ф. ШИЛЛЕРА**

Печатаемое ниже письмо (черновик) Энгельса к английской писательнице восьмидесятих годов Маргарет Гаркнес не имеет даты, но, как можно заключить из ответного письма Гаркнес к Энгельсу от 5 августа 1888 г., написано оно вероятно в первых числах апреля 1888 г.

Известно, что Маркс высоко ценил художественное творчество Бальзака. По окончании «Капитала» он даже намеревался писать работу о Бальзаке. Публикуемое здесь письмо Энгельса показывает, что и он также высоко ценил Бальзака, считая его крупнейшим художником-реалистом, писателем, от которого он узнавал иногда об эпохе больше, чем «из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе».

Институт Маркса-Энгельса-Ленина

[Начало апреля 1888 г.]

Дорогая мисс Г[аркнес], благодарю вас за то, что вы послали мне вашу «Городскую девушку» через г-на Визетелли.

Я прочел рассказ с величайшим удовольствием и жадностью. Это на самом деле, как говорит мой друг Эйхгоф, ваш переводчик, маленькое произведение искусства; к этому он добавляет (что должно вас удовлетворить), что его перевод должен быть буквальным, потому что всякий пропуск или попытка изменения может только испортить ценность оригинала.

Что мне особенно бросается в глаза в вашем рассказе наряду с реалистической правдивостью, это — проявление смелости настоящего художника. Не только в вашем толковании Армии спасения, резко расходящемся с понятиями самодовольных мещан, которые, может быть, впервые узнают из вашего рассказа,

И почему Армия спасения имеет такую опору в народных массах, но главным образом в неприкрашенной форме, в которую вы облакаете основу всей книги — старую-старую историю пролетарской девушки, соблазненной человеком из среднего класса. Посредственность попыталась бы скрыть шаблонный характер фабулы нагромождением искусственных деталей и украшений и, тем не менее, была бы разгадана. Вы же почувствовали, что можете рассказать старую историю, потому что в состоянии обновить ее правдивостью изложения.

Ваш мистер Артур Грант — шедевр.

Если я что-нибудь могу подвергнуть критике, то это может быть только тот факт, что рассказ недостаточно реалистичен. На мой взгляд реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах. Ваши характеры достаточно типичны в тех пределах, в каких они вами даны, но нельзя того же сказать об обстоятельствах, которые их окружают и заставляют их действовать. В «Городской девушке» рабочий класс фигурирует как пассивная масса, неспособная помочь себе, даже не делающая попыток помочь себе. Все попытки вырваться из притупляющей нищеты исходят извне, сверху. (Действительно, это класс самый бедный, самый страдающий, самый многочисленный, как говорит Сен-Симон, самый бедный, униженный класс, как говорит Роберт Оуэн.) Но если это было верное описание 1800 и 1810 гг., времени Сен-Симона и Роберта Оуэна, то это не так в 1887 г. для человека, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата и все время руководствовался принципом, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса. Революционный отпор рабочего класса угнетающему его окружению, его судорожные попытки — полусознательные или сознательные — добиться своих человеческих прав являются частью истории и могут претендовать на место в области реализма.

Я далек от того, чтобы поставить вам в вину, что вы не написали чисто социалистический рассказ, «тенденциозный роман», как мы, немцы, говорим, в котором прославлялись бы социальные и политические идеи автора. Это совсем не то, что я думаю. Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше

для произведения искусства. Реализм, который я имел в виду, проявляется, даже не взирая на взгляды автора. Разрешите мне привести один пример. Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», описывая в виде хроники нравов, год за годом, с 1816 до 1848, все усиливающийся нажим поднимающейся буржуазии на дворянское общество, которое оправилось после 1815 г. и опять, насколько это было возможно (*tant bien que mal*) восстановило знамя старой французской политики. Он описывает, как последние остатки этого образцового для него общества постепенно погибли под натиском вульгарного денежного выскочки или были развращены им; как *grande dame*, супружеские измены которой были лишь способом отстоять себя, вполне отвечавшим тому положению, которое ей было отведено в браке, уступила место буржуазной женщине, которая приобретает мужа для денег или нарядов; вокруг этой центральной картины он группирует всю историю французского общества, из которой я узнал даже в смысле экономических деталей больше (например перераспределение реальной (*real*) и личной собственности после революции), чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе. Правда, Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым восхищением, это его наиболее ярые противники, республиканские герои *Cloître Saint Merri*, люди, которые в то время (1830—1836) были действительно представителями народных масс. То, что Бальзак был принужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он

видел настоящих людей будущего там, где в это время их только и можно было найти, это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака.

Я должен признать в вашу защиту, что нигде в цивилизованном мире рабочий класс не проявляет меньшего активного сопротивления, большей пассивности судьбе, большей подавленности, чем в Ист-Энде Лондона. И почему я знаю, не было ли у вас достаточных оснований для того, чтобы довольствоваться изображением пассивной стороны жизни рабочего класса, оставляя активную сторону этой жизни для другого произведения?

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О БАЛЬЗАКЕ И РЕАЛИЗМЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Письмо Энгельса к Маргарет Гаркнес, английской мелкобуржуазной писательнице 80—90-х годов, заполняет существенный пробел в теме об отношении Маркса и Энгельса к реализму и творчеству Бальзака. Из рассказов младшей дочери Маркса Элеоноры, много занимавшейся театром и литературой, а также из воспоминаний Лафарга и других, близко знавших Маркса, известно, что он очень любил и высоко ценил произведения Бальзака. Главным образом на основании этих высказываний, а также на основании работ и писем самого Маркса Мering в своей известной биографии, где он подводит краткий итог также и литературным интересам основоположника научного социализма, пишет: «Маркс очень восторгался «Человеческой комедией» Бальзака, которая отражает, как в зеркале, целую эпоху. Он хотел по окончании своего большого труда (т. е. «Капитала») писать о Бальзаке, но этот план, как и многие другие, остался невыполненным». Что же касается Энгельса, то об его отношении к Бальзаку было очень мало известно, он упоминает его имя только один раз в письме к Марксу от 4 октября 1852 г. Опубликованное теперь письмо, написанное в первых числах апреля 1888 г., т. е. через пять лет после смерти Маркса, доказывает, что взгляды Энгельса на творчество Бальзака совпадали со взглядами Маркса, и это письмо можно до некоторой сте-

пени рассматривать как заменяющее ту работу о Бальзаке, которая, к сожалению, так и не была написана Марксом, как осталась ненаписанной статья о другом любимом поэте — Гейне. Чтобы лучше понять это чрезвычайно важное письмо Энгельса, остановимся сперва на выяснении того круга вопросов, по поводу которых оно было написано.

1

Адресат письма Энгельса мисс Маргарэт Гаркнес принадлежала к той группе мелкобуржуазной английской интеллигенции, которая в 80-х годах примкнула к социалистическому движению: в Англии существовали тогда три группировки социалистов: «Социал-демократическая Федерация» под руководством Гайндмана, «Фабрианское Общество» и «Социалистическая Лига». Мисс Гаркнес входила в состав первой. Сколько-нибудь видной активно-политической роли в социалистическом движении она повидимому не играла. Зато ее рассказы, опубликованные под псевдонимом Джон Лоу, пользовались в те годы большой известностью¹. Основные темы ее произведений: натуралистические описания бедственного положения бесчеловечно эксплуатируемых рабочих и городских молодых работников («городских девушек») в различных отраслях производства, особенно в пролетарском квартале Лондона Ист-Энде, затем «работа» организации «Армия спасения» среди этого населения и положение рабочих во время безработицы. Больше всего Маргарэт Гаркнес интересовалась судьбой «городских девушек», — тема, весьма популярная в 80-х годах и занимавшая не только ее, но и целый ряд других социалистических писателей того времени, особенно женщин. Так Элеонора Маркс-Эвелинг, с которой мисс Гаркнес была знакома и с которой она, по всей вероятности, совместно работала по обследованию положения этих девушек, вела среди них пропаганду социалистических идей, организовывала забастовки и т. д. Первым результатом этой работы и явился рассказ «Городская девушка», по поводу которого написано письмо Энгельса. Одновременно с этим рассказом мисс Гаркнес опубликовала статью на ту же тему в газете Гайндмана «Justice»². Подчеркивая, что «обследованием», кроме социалистов, занимаются также фабричные инспектора, духовенство и всякие благотворительные общества, ставящие себе чисто филантропические цели, Гаркнес говорит, что «взгляды работодателей и рабочих на один и тот же предмет весьма отличаются друг от друга», и приходит к выводу, типичному для мелкобуржуазной интеллигенции, старавшейся ко всем явлениям подхо-

доть «надпартийно»: она находит, что нужно выслушать обе стороны, а затем вывести среднее. Выясняется, что девушки заняты в 200 отраслях производства, что в некоторых производствах (главным образом полиграфическом, папиросном, электротехническом, парфюмерном и др.) они вынуждены работать от 8 ч. утра до 7 ч. вечера и по зарплате разбиваются на две категории: получающие от 8 до 14 и 4 до 8 шиллингов в неделю. Но описывая ужасные условия жизни и работы девушек и их эксплуатацию, Гаркнес как в своих статьях, так и в рассказе, разбираемом Энгельсом, делает отчет об этом положении, не указывая выхода из него. «В «Городской девушке», — пишет Энгельс в своем письме, — рабочий класс фигурирует как пассивная масса, неспособная помочь себе, даже не делающая попыток помочь себе. Все попытки вырваться из притупляющей нищеты исходят извне, сверху». Мисс Гаркнес трактует проблему рабочего класса с точки зрения обычной для мелкобуржуазных натуралистов 80—90-х годов, не только английских, но и немецких, французских, скандинавских и т. д. В этом рассказе мы напрасно искали бы постановки вопроса в разрезе революционном, марксистском, как это делала Элеонора Маркс, исследовавшая ту же среду, о которой Энгельс говорит: «нигде в цивилизованном мире рабочий класс не проявляет меньшего активного сопротивления, большей пассивности судьбе, чем в Ист-Энде Лондона». Но из этого еще не следует, что революционный писатель, как превосходно отмечает Энгельс, должен только фотографировать, только описывать это бедственное положение, не давая революционной направленности всему произведению. Элеонора Маркс не довольствовалась, как Маргарет Гаркнес, только констатированием, а старалась воспитывать этих рабочих и работниц Ист-Энда в классовом духе.

Этот же мелкобуржуазно-филантропический подход виден и в отношении мисс Гаркнес к «Армии спасения». Энгельс в своем письме подчеркивает важность того, что писательница раскрывает причины популярности этой буржуазно-филантропической, церковной организации у классово мало сознательных еще народных масс. Но опять-таки и здесь Гаркнес не до конца разглядела враждебный рабочему классу характер этой организации, что видно хотя бы из ее статьи «Армия спасения» и социалисты» в «Justice»³. Ей симпатичен тот факт, что «Армия» во время хозяйственного кризиса открыла множество столовых в Ист-Энде и в один день например пропустила через одну только столовую 4 тыс. чел. И, принимая участие в дискуссии между руководителями «Армии» и социалистами, в которой первые называли себя «служителями Христа», а социалистов «слу-

жителями людей», она вместо ясного ответа ставит путанный вопрос: «Мне не известно, что думают социалисты о членах «Армии спасения», но я знаю, что эти последние очень хорошо относятся к «служителям людей». Недавно генерал Бутс публично заявил об уважении, которое он питает к социалистам. Обеим организациям следовало бы больше работать совместно, чем они это делали до сих пор, потому что у них много общих интересов. Что касается нас, то «Армия» может дать нам хороший пример. Она никогда не раскалывалась. Это — обширный рабочий союз».

Несмотря на мелкобуржуазность идеологии и творчества Гаркнес, Энгельс считал реалистический подход этой писательницы весьма полезным для тогдашней социалистической пропаганды, ибо Гаркнес была, если разрешено будет употребить современный термин, «попутчицей» английского рабочего движения 80-х годов. И отношение Энгельса — как, само собой разумеется, и Маркса — к попутническим мелкобуржуазным писателям того времени весьма характерно. Признавая их заслуги перед рабочим классом, подчеркивая правильные положения, имеющиеся в их творчестве, Энгельс как в данном, так и в других известных нам случаях, с большой подробностью останавливается на их ошибках и так строит свою критику этих ошибок, что она может служить настоящей лекцией по воспитанию попутнического писателя. И не случайно, что он вместе с письмом послал Гаркнес свою книгу «Развитие социализма от утопии к науке», — он хотел дать писательнице изложение основ марксизма.

«Городская девушка» Гаркнес вышла, насколько нам это удалось установить, в конце 1887 г. в издании Визетелли. Как пишет Энгельс, этот издатель прислал ему — по просьбе автора — книгу для отзыва. Так как Энгельс поддерживал связь с этим издателем и впоследствии и так как Элеонора Маркс была в дружеских отношениях с ним и, может быть, и устроила у него книгу Гаркнес, то скажем несколько слов и о нем.

Генри Визетелли (1820—1894) был известным в свое время английским радикальным журналистом, издателем и пионером в деле создания английской буржуазной иллюстрированной печати («Illustrated London News», «Pictorial Times» и др.). Он прожил целых семь лет (1865—1872) в Париже и написал книгу об осаде Парижа в франко-прусскую войну и во время Коммуны 1871 года⁴. Он является также автором ряда беллетристических книг. С 1887 г. он был корреспондентом в Лондоне и занимался главным образом переводами и изданием иностранной литературы (Флобера, Додэ, Шербюлье, Гоголя, Достоевского, Толстого и особенно Золя). Кроме того он издал ряд произведений своих английских

друзей-писателей, как, то: Муррея, Джорджа Мура и Гаркнес. И вот Энгельс, прочитав присланную ему Визетелли «Городскую девушку», не только пишет автору письмо с дружеской критикой, но всячески старается найти для нее переводчика на немецкий язык, чтобы сделать книгу доступной и немецким рабочим; он с этой целью рекомендует старому другу (Маркса и его) Вильгельму Эйхгофу, автору известной книжки о I Интернационале и переводчику «Античного общества» Моргана, жившему в это время в Мюнхене, взяться за перевод.

Летом 1888 г. мисс Гаркнес закончила второй роман — «Безработный», вышедший, по всей вероятности по рекомендации Энгельса, в известном лондонском социалистическом издательстве Зонненшейна, у которого издавался и сам Энгельс. И еще до выхода романа Энгельс опять рекомендует Эйхгофу перевести его на немецкий язык. Перевел ли Эйхгоф и эту книгу, нам установить не удалось, так как затем он вступил уже в непосредственную переписку с Гаркнес.

Нам, к сожалению, пока не известна и дальнейшая судьба самой писательницы. Мы не могли также достать ее книг и поэтому не имели возможности установить, осуществила ли она в своем конкретном художественном творчестве те указания, которые ей дает Энгельс в своем письме. Некоторое предположение на этот счет можно сделать по ее ответному письму Энгельсу. Оно датировано «Лондон, 49, Russel street, 5 апреля 1888» и гласит:

«Дорогой м-р Энгельс!

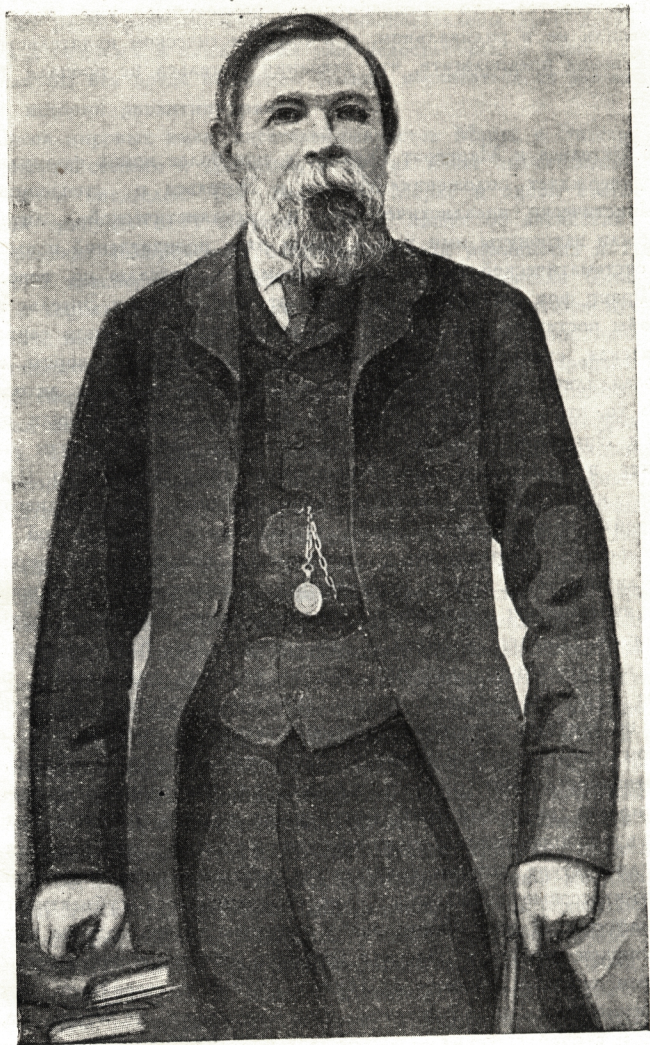
Большое спасибо за ваше письмо и за вашу книгу. Книгу вашу я уже прочла и снова перечту ее, даже с большим интересом, чем в первый раз.

Я всегда относилась к вам с большим восхищением и уважением и никогда не думала, что удостоюсь получить письмо от человека, подобного вам, помогающего создавать мировую историю.

Может быть, когда Элеонора вернется, вы разрешите мне навестить вас. Многое из того, что вы говорите о моей книжечке, очень справедливо, в особенности о недостатке в ней реализма.

Объяснить в письме мои затруднения в этом отношении заняло бы слишком много времени. Они возникают главным образом вследствие недостатка веры в собственные силы, мне кажется, и также вследствие моего пола. Прошу, примите мою самую горячую благодарность за вашу доброту.

Преданная вам Маргарет Э. Гаркнес».



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии (конца 80-х гг.),
хранящейся в Музее
Маркса-Энгельса-Ленина

То обстоятельство, что «Безработные», написанные уже после этого письма, вышли не в радикальном, а в социалистическом издательстве, дает некоторый повод предполагать, что указания Энгельса не пропали даром ⁵.

2

Письмо Энгельса к Маргарэт Гаркнес в еще более ярких формулировках снова подтверждает положения Маркса и Энгельса о «тенденциозной», «субъективистически-идеалистической» и «реалистической» литературе, которые были затронуты ими уже в целом ряде произведений и высказаны в более систематической форме в их письмах к Лассалю по поводу его драмы «Франц фон Зикинген». «Я далек от того, — пишет Энгельс к Гаркнес, — чтобы поставить вам в вину, что вы не написали чисто социалистический рассказ, «тенденциозный роман», как мы, немцы, говорим, в котором прославлялись бы социальные и политические взгляды автора. Это совсем не то, что я думаю» ⁶. Здесь те же мысли, которые были развиты Марксом и Энгельсом в споре с Лассалем, когда они выдвигали «шекспиризирование» в противовес «шиллеровщине». Этот вопрос о Шекспире и Шиллере имел глубоко принципиальное значение. Для позднего Шиллера, «герой» произведения — рупор субъективной, абстрактной «идеи», для него «борьба» выражалась в лжепафосных поединках «всемирно-исторических личностей», якобы отражающих исторические столкновения и будто бы являющихся движущими, определяющими факторами общественного развития. Шиллер, который в это время («Дон Карлос») ориентировался на просвещенного монарха, как на решение социального вопроса сверху, не видит в широких массах движущего фактора общественного развития, не замечает «реальных взаимоотношений» и поэтому ищет выхода в этическом, субъективно-моральном. Этой «шиллеровщине» Маркс и Энгельс противопоставляют реалистическое изображение исторической борьбы широких народных масс как борьбы классов так, как она действительно происходила; они требуют такого изображения этой борьбы в литературе, которое вскрыло бы действительные движущие силы и историко-классовые конфликты, а не ограничивалось субъективно-риторическим пафосом. И если Маркс видит элементы такого подхода в творчестве Шекспира и требует от Лассалю большего «шекспиризирования», то Энгельс в своем письме к Лассалю от 18 мая 1859 г. подчеркивает, «что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и с этой стороны, — продолжает он, — идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были

несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда немножко больше посчитаться со значением Шекспира в истории развития драмы).

В список мировых имен писателей-реалистов Маркс и Энгельс включали до некоторой степени и Диккенса, и других менее значительных реалистических писателей. Так например, Маркс в одной статье в «Нью-Йоркской трибуне» от 1 августа 1854 г. пишет об английских реалистах этого времени: «Современная блестящая школа романистов в Англии, наглядные и красноречивые описания которой разоблачили больше политических и социальных истин, чем это сделали все политики, публицисты и моралисты, вместе взятые, изобразила все слои буржуазии, начиная с «достопочтенного» рантье и обладателя государственных процентных бумаг, который сверху вниз смотрит на все виды «дела» как на нечто вульгарное, и кончая мелким лавочником и подручным адвоката. И как обрисовали их Диккенс, Теккерей, Шарлотта Бронте и г-жа Гаскель! Полными сомнения, чопорности, мелочного тиранства и невежества, и цивилизованный мир подтвердил их вердикт, пришив к этому классу клеймящую эпиграмму, что он угодлив по отношению к стоящим выше и деспотичен по отношению к стоящим ниже». Именно это смелое раскрытие внутренних противоречий, присущих капиталистическому обществу, это «срывание масок» Маркс Энгельс и ценили так высоко в буржуазном и мелкобуржуазном реализме. Это правдивое изображение общественных противоречий капитализма, эту большую познавательную способность буржуазной реалистической литературы—вот что они считали огромным преимуществом этой литературы перед литературой «субъективно-идеалистической», и вот почему они призывают социалистических писателей своего времени учиться у Бальзака. Маркс и Энгельс считали Бальзака одним из величайших реалистов всех времен. Энгельс указывает М. Геркнес на его реализм как на образец художественного творчества, и что пролетарский художник должен дать изображение борьбы рабочего класса с буржуазией с такой же реалистической силой, как это сделал Бальзак в изображении борьбы поднимающейся буржуазии с дворянством. «Бальзак,— пишет он,— которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», описывая в виде хроники нравов, год за годом, с 1816 до 1848, все усиливающийся нажим поднимающейся буржуазии на дворянское общество, которое

оправилось после 1815 г. и опять, насколько это было возможно (*tant bien que mal*), восстановило знамя старой французской политики. Он описывает, как последние остатки этого образцового для него общества постепенно погибли под натиском вульгарного денежного выскочки или были развращены им; как *grande dame*, супружеские измены которой были лишь способом отстоять себя, вполне отвечающим тому положению, которое ей было отведено в браке, уступила место буржуазной женщине, которая приобретает мужа ради денег или нарядов; вокруг этой центральной картины он группирует всю историю французского общества, из которой я узнал даже в смысле экономических деталей больше (например, перераспределение реальной и личной собственности после революции), чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых». Это определение удивительно напоминает вышеприведенную оценку Марксом английской школы реалистов. Да и те места в «Капитале», где Маркс приводит высказывания Бальзака, подтверждают сходство его взглядов со взглядами Энгельса. Так в первом томе «Капитала», где Маркс говорит о том, что изъятие денег из сферы обращения было бы прямою противоположностью их капиталистическому потреблению, а накопление товаров в смысле собирания сокровищ — чистой бессмыслицей, он делает примечание: «Так у Бальзака, который основательно изучил все оттенки скупости, старый ростовщик Гобсек рисуется уже впадшим в детство в тот период, когда он начинает собирать в своих кладовых накопленные товары». А в первой главе третьего тома «Капитала», где говорится об издержках производства и о прибыли и подчеркивается, что при общественном состоянии, в котором господствует капиталистическое производство, даже капиталистический производитель подчиняется капиталистическим представлениям, Маркс опять-таки в качестве иллюстрации ссылается на Бальзака и пишет: «В своем последнем романе «Крестьяне» Бальзак, вообще замечательный по глубокому пониманию реальных отношений, метко изображает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы для своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего и не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких затрат. Ростовщик, в свою очередь, убивает таким образом двух зайцев зараз. Он избавляется от затрат на заработную плату и все больше и больше опутывает петлями ростовщической сети крестьянина, которого все быстрее разоряет отвлечение от работ на собственном поле...» Об этой удивительной осведомленности Бальзака в сфере экономических знаний Маркс упоминает еще раньше

в письме к Энгельсу от 14 декабря 1868 г., где он пишет: «В «Приходском священнике» Бальзака написано следующее: «Если бы продукты промышленности не имели стоимости вдвое больше, чем стоимость их изготовления, то торговли не существовало бы». Что ты скажешь на это?» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 146).

3

При этой высокой оценке творчества Бальзака ни Маркс, ни Энгельс не закрывали глаза на тот факт, что Бальзак был по своему мировоззрению роялистом и легитимистом, т. е. сторонником королевской власти. «Правда, — пишет Энгельс, — Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрерывная элегия по поводу непоправимого развала хорошего общества: его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым восхищением, это его наиболее ярые антагонисты, республиканские герои Cloître Saint Merri, которые в это время (1830—1836) были действительно представителями народных масс. То, что Бальзак был принужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где в это время их только и можно было найти, — это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака». В этом же духе пишет Маркс Энгельсу в письме от 25 февраля 1867 г.: «Кстати о Бальзаке: советую тебе прочесть его «Неведомый шедевр» и «Примирившийся Мельмотт». Это два маленьких шедевра, полных прелестной иронии» (Соч., т. XXIII, стр. 396).

Эта оценка мировоззрения и художественного творчества Бальзака со стороны Маркса и Энгельса имеет чрезвычайно важное методологическое значение: они не отрывают механически Бальзака-мыслителя от Бальзака-художника, не противопоставляют субъективному мировоззрению художника объективность его изображения, как это делают многие критики II Интернационала и буржуазные литературоведы. Энгельс считает реализм Бальзака революционным, потому что Бальзак, несмотря на свои легити-

мистские симпатии, видел неизбежность гибели дворянства и видел настоящих людей будущего, «представителей народных масс» 1830—1836 гг. А мелкобуржуазные писатели, как Гюго и Золя, т. е. и «романтик», и «натуралист», объясняют это противоречие между Бальзаком-мыслителем и Бальзаком-художником либо чисто субъективным, либо бессознательным моментом. Так Гюго говорит о Бальзаке: «У этого великого человека демократическое сердце и демократический мозг. Его монархизм был, в сущности говоря, лишь причудой. Спустя некоторое время он сам перешел бы на сторону прекрасных принципов демократии». А Золя, который считал себя «духовным сыном» Бальзака, правильно указывая на революционную функцию творчества своего «учителя», все же не понимает причины этой функции, когда он пишет: «Несмотря на проявляющееся при всех обстоятельствах уважение к монархии, Бальзак нашел восторженных друзей только в рядах тех, кто вместе с новым поколением защищает свободу». Неправильное истолкование этого интересующего нас здесь вопроса о Бальзаке — мыслителе и художнике — дают и критики II Интернационала на Западе как довоенного, так и послевоенного. Обычно эти критики делают Бальзака «революционером», даже «социалистом», интуитивно, независимо от его мировоззрения, отрывают мыслителя от художника и почти все рассуждают таким образом: по мировоззрению Бальзак был реакционером, а по своему художественному творчеству — бессознательно — он был революционером и даже социалистом. В основе такого неправильного, немарксистского подхода к искусству лежит очень распространенное и в довоенной критике II Интернационала понимание творческого процесса художника как подсознательного, интуитивного, «неконтролируемого» сознательным мировоззрением. И исходя из такого понимания искусства и творческого метода, Роберт Бернье мог считать Бальзака социалистом и, в частности, расценивать его произведения «Приходский священник» и «Сельский доктор» как «абсолютный и чистый социализм»⁷. К этой же «революционной подсознательности» фактически сводится и оценка творчества Бальзака в статье Жана Мелья⁸, который считает Бальзака «деклассированным человеком в мире аристократии и роялистической партии». Другие, особенно же радикально-мелкобуржуазные критики, стараются устранить противоречие в творчестве Бальзака, приводя всяческие цитаты в доказательство того, что Бальзак был революционером и по своему мировоззрению, что его монархические симпатии — «чудаковатые странности», и больше ничего!

Было бы конечно ошибкой полагать, что Бальзак только дворянский

писатель или только правоверно-католический глашатай церкви и трона, а эта оценка тоже довольно часто встречается в реакционной критике. Но Энгельс, повторяем, совершенно правильно замечает, что Бальзак по своему мировоззрению был легитимистом и что его симпатии в значительной степени принадлежали дворянству. Молодой Бальзак, выходец из разночинной интеллигенции (сын адвоката), отправился, как молодой Сорель в знаменитом романе его современника Стендаля «Красное и черное», из провинции в Париж, движимый основной страстью поднимающейся буржуазии того времени — страстью к деньгам, к наживе и богатству, к славе. Лозунгом молодого Бальзака было: «Что не удалось Наполеону совершить мечом, то я выполню пером». Правда, в первое время его постигло не мало неудач на коммерческом поприще, но вскоре он все же утвердился в французской литературе как «Наполеон пера». В своей так высоко ценимой Марксом и Энгельсом серии романов «Человеческая комедия», особенно в разделе «История нравов» (92 романа), он подходит к социальной действительности не субъективно-идеалистически, не выдвигает личность автора на первый план, не делает своих «героев» рупорами «духа времени», а в чрезвычайно реалистическом, аналитическом, исследовательском плане дает широкое полотно этой социальной действительности. Задачей «исследования нравов», по его словам, является «изображение всей социальной действительности, не обходя ни одного положения человеческой жизни, ни одного типа, ни одного мужского или женского характера, ни одной профессии, ни одной житейской формы, ни одной социальной группы, ни одной французской области, ни детства, ни старости, ни зрелого возраста, ни политики, ни права, ни военной жизни. Основа — история человеческого сердца, история социальных отношений. Не выдуманные факты, а то, что везде происходит». Но Бальзак не ограничивался собиранием фактов, и хотя в предисловии к «Человеческой комедии» он и говорит, что «французское общество само создает свою историю», а он только его «секретарь, записывающий ее», он далеко не ограничивается «объективной» ролью «наблюдателя», а вскрывает причины этой «истории» и дает «типизированные индивидуальности» и «индивидуализированные типы» буржуазии и старого дворянства. Если бы Бальзак только устанавливал факты и давал бы только «типизированные характеры» общества своего времени, его произведения мало бы отличались от «Городской девушки» мисс Гаркнес, и Энгельс вряд ли выдвигал бы его метод как образец реалистического творчества. Нет, у него помимо фактов есть еще то, чего нет у мисс Гаркнес, а именно, по выражению Энгельса, «кроме правдивости деталей верность передачи типичных характе-

ров и типичных обстоятельств», т. е. и типичные «обстоятельства, которые их окружают и заставляют их действовать». Бальзак изобразил своих «героев» именно так, как Энгельс этого требовал в своем письме к Лассалю, говоря, «что человек характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, как он это делает». Бальзак за фактами, за тем, «что везде происходит», вскрывает и кулисы, и механизм общественной жизни. И тут он как писатель утверждающейся буржуазии понимал и знал, что основным стержнем классовой борьбы его времени была победа буржуазии над землевладельческой и родовой аристократией, что ключ к этой победе — деньги. И действительно: деньги являются, по выражению Георга Брандеса, «безымянным, бесполом героем в сочинениях Бальзака»; его «Человеческая комедия» — развитие французского буржуа от накопителя-ростовщика к банкиру. Но если неправильно считать Бальзака писателем дворянства, то так же неправильно будет отрицать его симпатии к «религии и трону». Бальзак сам говорил: «Я пишу при свете двух вечных истин: религии и монархии; двух необходимостей, о которых возвещают современные события и к которым всякий разумный писатель должен стараться вновь привести нашу страну». Известно, что он выставил свою кандидатуру на выборах в парламент от роялистской партии, что он стоял за конституционную монархию с наследственным королем, с сильной камерой пэров для защиты собственности. Народ, по его мнению, «должен содержаться под возможно сильным игом так, чтобы пользоваться просвещением, поддержкой и защитой и чтобы при этом мысли, формы и действия не подстрекали его к мятежу». Известно, каким он был противником республики, особенно же революции 1848 года. В письме к своей сестре от 30 апреля 1849 г. он говорит, что «бедствия, причиненные Франции февральской революцией, неизмеримы и не все еще последствия ее проявились...» «Это нелепое массовое восстание демократии, — пишет он, — во главе которого встал Ламартин, причинило Франции много страданий, и оно уничтожит и тех, кто его вызвал». Это тяготение Бальзака к мирному сожительству с дворянством объясняется настроениями той части французской буржуазии 1815—1848 гг., которая с победой финансово-биржевой буржуазии 1830 г. переживала кризис и противопоставляла режиму Луи-Филиппа дворянско-буржуазный блок доиульской французской монархии, под сенью которой развивалась «старая, честная торговая буржуазия», а также и промышленная буржуазия в противовес финансистам-биржевикам. В. М. Фриче в своем «Очерке развития западных литератур» пишет, что Бальзак был «идеологом старой купеческой буржуазии и потому врагом воцарившейся

25 Feb. 1867.

Dear Sir,

best Thanks for \$20.

finden sich in der Kugelmann.

[illegible]

Salut
a g
p l u

ЗАПИСКА МАРКСА К ЭНГЕЛЬСУ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1867 г. С УПОМИНА-
НИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАЛЬЗАКА

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

после 1830 г. буржуазии финансовой и всего социально-политического режима июльской монархии, построенной на финансовом капитале». Этим определением далеко не исчерпывается все содержание мировоззрения Бальзака и его отношение к различным группировкам французской буржуазии того времени. Он во всяком случае в целом — буржуазный идеолог и буржуазный художник, и недаром его «Человеческая комедия» попала в список запрещенных Ватиканом книг как восхваление науки и «очернение религии».

4

Одним из существеннейших недостатков «Городской девушки» Гаркнес Энгельс считает то, что автор рассказа изображает рабочий класс «как пассивную массу, неспособную помочь себе, даже не делающую попыток помочь себе», и что «все попытки вырваться из притупляющей нищеты исходят извне, сверху». И он прибавляет: «Но если это было верное описание 1800 и 1810 гг., времени Сен-Симона и Роберта Оуэна, то это не так в 1887 г. для человека, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата и все время руководствовался принципом, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса». Маркс и Энгельс, повторяем, видели в творчестве Бальзака, вскрывающем внутренние противоречия капиталистического развития, наивысшее достижение революционного буржуазного реализма, и Энгельс считал Бальзака «гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого настоящего и будущего», именно потому, что реализм Золя являлся уже в большой степени реализмом примирительным, искажающим реальные движущие силы классовой борьбы, особенно во второй пятилетке творчества Золя, в период обострения борьбы пролетариата с буржуазией.

Письмо Энгельса к мисс Гаркнес еще раз подтверждает правильность постановки Марксом, Энгельсом и Лениным вопроса о культурном наследстве прошлого: оно приобретает особый интерес и для вопроса о том, чему мы должны учиться у классиков. Из оценки творчества Бальзака, данной Энгельсом, вытекает, что среди литературных классиков буржуазии он должен занимать одно из первых мест, ибо, как пишет Энгельс, «то, что он видел настоящих людей будущего... это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака».

Ф. Шиллер

¹ Гаркнес опубликовала под псевдонимом John Low следующие романы и рассказы:

- I) City girl: a realistic story. London, Vizetelly, 1887—1889.
- II) Out of work. London, Sonnenschein, 1888—1889.
- III) Captain Lobe: story of the Salvation Army. London, Hodder, 1889.
- IV) Manchester Shirtmaker: a realistic story of To-day. Anth. Co-op. Feb. 1890.
- V) In Darkest London: new and popular edition of Captain Lobe: London, W. Kelves, Feb. 1891.

² Margaret E. Harkness, Girl Labour in the City («Justice». The organ of the Social-Democracy, 3/III 1888).

³ Margaret E. Harkness, Salvationists and Socialists («Justice», 24/III 1888).

⁴ Henry Vizetelly. Paris in Peril. London, 1882, 2 тома.

⁵ Из биографии Гаркнес мы пока знаем, что она была дочерью лондонского пастора и работала некоторое время в госпитале. О том, что она в течение ряда лет вращалась в кругу интимных друзей Энгельса и бывала в его доме, мы знаем из воспоминаний Эд. Бернштейна. О причинах, почему она впоследствии вместе с немецкой социалисткой Гертрудой Гильом-Шапп перестала посещать вечера в доме Энгельса, Бернштейн пишет: «Однажды Энгельс получил от г-жи Гертруды Гильом-Шапп письмо, в котором она говорит, что до тех пор, пока у него бывает д-р Эвелинг, она не может посещать его дом. Подобное же письмо получил он, когда я уже поселился на жительство в Лондоне, от высокообразованной английской социалистки, которая под псевдонимом Джона Лоу дала в форме рассказов наглядное изображение условий жизни белошвейк в Манчестере, деятельности «Армии спасения» в Ист-Энде, в Лондоне, и подобных им социальных явлений. Обе однако, и мисс [Гаркнес], и г-жа Шапп, упорно отказывались дать Энгельсу более подробные объяснения, почему они избегают Эвелинга. Возможно, что дело идет о нанесенном Эвелингом оскорблении такого рода, о котором воспитанные дамы говорят неохотно» (Ed. Bernstein, Aus den Jahren des Exils. Erinnerungen eines Sozialisten. 5—8 Aufl., Berlin, 1918, стр. 219).

⁶ Из этого однако ничуть не следует, что Маркс и Энгельс были против тенденции в литературе; нет, они были только против поверхностной тенденциозности, против «пристрастия», искажающего факты и насилующего их логику. Об этом как нельзя лучше свидетельствует их отношение к насквозь революционно-«тенденциозной» поэзии Гейне, Гервега и Фрейлихграфа. Маркс и Энгельс говорили, что все великие писатели, начиная от Аристофана до Гейне и т. д., были насквозь тенденциозны, но что тенденция должна подсказываться самим произведением.

⁷ Robert. Bernier, Balzac socialiste («La Revue socialiste», XV, 1892, стр. 598). Из других статей критиков II Интернационала см.: Hermann Wendel, Balzac («Soz. Monatshefte» IX (1905), стр. 1037—1042); Franz Clement, Balzac (там же, XIII (1909), стр. 583—593); P. C. Korth, Balzac (там же, XXVIII (1922), стр. 736—738); Ch. Bonnier, Les Payans de Balzac («L'Ere Nouvelle» 1894, t. II, стр. 139—147); C. F. W. Behl,

Balzac («Die Glocke» XI, 1 (1925), стр. 662—665); Jacques Bonhomme, Balzac («The Social-Democrat», vol. IX (1905), стр. 24—29). Из статей современных социал-фашистов можно указать на газетную статейку вождя II Интернационала Эмиля Вандервельде, воспользовавшегося случаем и при этом оклеветать Советский союз (Emile Vandervelde, Karl Marx et Balzac, «La Wallonie», Liège, 25/III 1931).

⁸ Jean Melia, Balzac, der Revolutionär («Soz. Monatshefte» 1899, Heft 8, стр. 399) и его же, Balzac révolutionnaire («La Revue Socialiste», t. XXIX 1899, стр. 591—604).

ЭНГЕЛЬС
ПРОТИВ МЕХАНИЦИЗМА
И ВУЛЬГАРИЗАЦИИ МАРКСИЗМА
В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Переписка
Энгельса
с Паулем Эрнстом

Предисловие
ИНСТИТУТА
МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА

Статья
Ф. ШИЛЛЕРА

Письмо Энгельса к Паулю Эрнсту написано по поводу полемики на страницах журнала «Freie Bühne» между двумя молодыми писателями раннего немецкого натурализма — Германом Баром и Паулем Эрнстом, только недавно пришедшим к социал-демократической партии.

Предметом полемики служил женский вопрос в драмах Ибсена. Письмо Энгельса, являющееся ответом на вопрос Эрнста по поводу полемики, представляет собой один из лучших анализов Энгельса на конкретном литературном материале: оно направлено прежде всего против механистической литературоведческой концепции Эрнста и против его вульгарно-эклектической трактовки социальной категории «мещанства». Как метко Энгельс определил методологическую путаницу Эрнста, при которой исторический материализм превращается в свою противоположность, в идеализм, показывает дальнейшее развитие этого «марксиста»: в 1889—1893 гг. Эрнст занимал неустойчивую позицию в партии, сочувствовал мелкобуржуазным, анархоиндивидуалистическим лидерам оппозиции «молодых», затем вышел из партии, сделался главой «неоклассической» идеалистической школы в литературе, а сейчас является фашистским писателем. А тогдашний его оппонент, Г. Бар, также сделался националистом и мистиком.

Письмо Энгельса не потеряло своей актуальности и поныне, когда против марксистско-ленинского литературоведения выступают всякие механистические и эклектические «теоретики».

Институт Маркса-Энгельса-Ленина

Лондон, 5 июня, 1890 г.

Милостивый государь.

К сожалению, я не могу исполнить вашей просьбы — написать вам такое письмо, которое вы могли бы использовать против

г. Бара. Это втянуло бы меня в открытую полемику, для которой мне пришлось бы буквально украсть у себя время. Поэтому то, что я вам пишу, предназначено только лично для вас.

К тому же я совершенно не знаком с тем, что вы называете скандинавским женским движением, знаю только несколько драм Ибсена и абсолютно не представляю себе, в какой мере можно считать Ибсена ответственным за более или менее истерические [стремления более или менее зрелых норвежских дев] бдения буржуазных и мещанских карьеристок.

Да и вся область, которую привыкли называть женским вопросом, так обширна, что в пределах письма невозможно высказать о ней ничего исчерпывающего или даже хоть сколько-нибудь удовлетворительного. Но несомненно во всяком случае одно, — а именно, что Маркс не мог «стоять на точке зрения», которую ему приписывает г. Бар. Для этого он бы должен был быть сумасшедшим.

Что касается вашей попытки проанализировать вопрос материалистически, то прежде всего я должен сказать, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроют и перекраивают исторические факты. И если г. Бар полагает, что он поймал вас на месте преступления, то мне кажется, что у него есть на это кое-какие основания.

Всю Норвегию и все, что там происходит, вы подводите под категорию мещанства, а затем, не обинуясь, приписываете этому норвежскому мещанству то, что считаете характерным для немецкого мещанства. Но тут помехой являются два обстоятельства.

Во-первых, когда во всей Европе победа над Наполеоном ознаменовала собой победу реакции над революцией, и лишь на своей родине, во Франции, революция еще настолько внушала страх, что из рук вернувшейся легитимной власти была вырвана буржуазно-либеральная конституция, Норвегия сумела завоевать себе конституцию более демократическую, чем все, существовавшие тогда в Европе.

И, во-вторых, за последние двадцать лет Норвегия пережила такой расцвет в области литературы, каким не может гордиться

1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

[illegible][illegible]

The paper may be used as follows:—
Take six parts of paper & five parts of glue
mix well together & beat till it is very fine
then add one part of oil of sweet almonds
beaten fine & mix well together.

Handwritten text in German, likely a letter or document, written in cursive script. The text is dense and covers the upper portion of the page. It appears to be a continuation of a letter, with various phrases and words written in a fluid, cursive hand. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА
ТОГО ЖЕ ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА
К ПАУЛЮ ЭРНСТУ

С фотокопии,
хранящейся в Институте
Маркса-Энгельса-Ленина

ни одна страна, кроме России. Считать ли их мещанами или нет, но во всяком случае норвежцы создают гораздо больше духовных ценностей, чем другие нации, и накладывают свою печать также и на другие литературы, в том числе и на немецкую.

Если вы взвесите эти факты, то должны будете признать, что они не вполне совместимы с включением норвежцев в категорию мещан, и притом мещан чисто немецкого пошиба; по моему мнению, факты эти обязывают нас точнее определить специфические особенности норвежского мещанства.

И вот вы вероятно найдете, что тут обнаруживается большая разница. В Германии мещанство является плодом неудавшейся революции, прерванного и задержанного развития; оно получило свой своеобразный и резко выраженный характер трусости, ограниченности, беспомощности и неспособности к какой-бы то ни было инициативе благодаря Тридцатилетней войне и следующей за ней эпохе, когда все остальные крупные народы переживали бурный рост. Характер этот немецкое мещанство сохранило и впоследствии, когда Германию снова подхватил поток исторического развития: он был достаточно силен, чтобы наложить свою печать и на все остальные общественные слои Германии в качестве всеобщего немецкого типа, пока наконец наш рабочий класс не прорвал эти узкие рамки. Немецкие рабочие как раз в том отношении являются самыми яркими «отрицателями отечества», что они сбросили с себя немецкую мещанскую ограниченность.

Таким образом в немецком мещанстве надо видеть не нормальный исторический этап, а доведенную до предела карикатуру, образец вырождения [подобно тому как польский еврей является карикатурой на евреев. Оно классично лишь в лице предельно очерченной и утрированной мелкой буржуазии]. Английский, французский и т. д. мелкий буржуа отнюдь не стоит на одном уровне с немецким.

Напротив, в Норвегии мелкое крестьянство и мелкая буржуазия с небольшой примесью средней буржуазии — какими они примерно были в Англии и во Франции в XVII веке — втечение ряда столетий представляют собой нормальное состояние общества. Здесь не может быть речи о насильственном возвращении к устарелым этапам развития из-за неудавшегося круп-

ного движения и из-за какой-нибудь Тридцатилетней войны. Вследствие своей изолированности и природных условий страна отстала, но общее ее состояние все время соответствовало производственным условиям и благодаря этому было нормальным. Лишь в самое последнее время в стране спорадически появляются начатки крупной промышленности, но для самого могучего рычага концентрации капиталов — для биржи — тут нет места; к тому же консервирующее влияние оказывает огромный размах морской торговли. В то время как повсюду в других государствах пароход вытесняет парусные суда, Норвегия все увеличивает свое парусное судоходство и обладает если не самым крупным в мире, то вторым по величине парусным флотом, принадлежащим главным образом мелким и средним судохозяевам. Так или иначе это внесло движение в старое застойное существование, и движение это повидимому отражается на расцвете литературы.

Норвежский крестьянин никогда не был крепостным, и это обстоятельство — как и в Кастилии — накладывает свою печать на все развитие страны. Норвежский мелкий буржуа — сын свободного крестьянина, и вследствие этого он — настоящий человек по сравнению с жалким немецким мещанином. Точно так же норвежская женщина из мелкобуржуазной среды стоит неизмеримо выше немецкой мещанки. И каковы бы ни были недостатки ибсеновских драм, в них все же отражен — хотя и мелкий, среднебуржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди еще обладают характером, способны к инициативе и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать со своим суждением.

Возвращаясь снова к тому, с чего я начал, т. е. к г. Бару, я должен сказать, что меня удивляет, до какой степени всерьез принимают друг друга современные немцы. Остроумие и юмор повидимому более чем когда-либо стали запретными в Германии, и [даже евреи как будто напрягают все усилия, чтобы поглубже скрыть свое природное остроумие] скучный тон сделался гражданским долгом. Иначе вы несомненно несколько внимательнее рассмотрели бы «Женщину» г. Бара, которая лишена всех

«Исторически развившихся» черт. Исторически развилась ее кожа, ибо она должна быть белой или черной, желтой, коричневой или красной, — следовательно, не может быть человеческой кожей вообще. Исторически развились ее волосы — курчавые или волнистые, кудрявые или прямые, черные, рыжие или белокурые. Следовательно, просто в человеческих волосах ей отказано. Что же остается, если отнять у нее вместе с кожей и волосами все исторически сложившееся и перед нами «предстанет женщина как таковая»? Просто-напросто обезьяна, *anthropopithecа*, и пусть г. Бар берет ее — «легко осязаемую и до дна прозрачную» — к себе в постель вместе с ее «естественными инстинктами».

ЭНГЕЛЬС И МЕХАНИСТИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 90-х ГОДОВ

Письмо Энгельса к П. Эрнсту от 5 июня 1890 г. является, насколько нам известно, последним специальным и развернутым высказыванием Энгельса по вопросам литературы: оно направлено против механицизма и вульгаризации марксизма в литературной критике. Высказанные в нем методологические замечания, не потерявшие своей актуальности и поныне, станут нам понятнее, если мы исследуем спорные вопросы, вызвавшие это письмо, и вскрыем корни всех ошибочных положений, против которых выступает Энгельс.

Прежде всего о дискуссии между Эрнстом и Германом Баром, послужившей поводом для обращения Эрнста к Энгельсу. В конце 80-х годов молодой германский империализм стремился обеспечить себе при разделе колоний рынки сбыта; это был период превращения Германии мелкого производства в крупнокапиталистическую, империалистическую державу, с одной стороны, а с другой — бурного роста многомиллионной армии пролетариата, организующегося в мощную социал-демократическую партию. Во время закона против социалистов, срок которого истек в сентябре 1890 г., партия не погибла, как на это рассчитывал Бисмарк, а, наоборот, вышла окреп-

шей и сильной из этой борьбы. Этот рост капитализма повлек за собой сильное ослабление и разорение мелкой буржуазии и ремесленничества. И вот идеологи этих разоряющихся слоев, голодающая бунтарская интеллигенция в городах, часть так называемых ранних немецких натуралистов, сознавая обреченность мелкой буржуазии, примкнула к социал-демократической партии, видя в социализме новое «евангелие» спасения «человечества». Организационно эти литераторы и писатели группировались вокруг основанного в 1889 г. в Берлине Отто Брамом и др. театра «Свободная сцена» и журнала под этим же названием, а наиболее левая часть натуралистов, вступив в с.-д. партию, основала в 1890 г. «Свободную народную сцену», во главе которой стояли Бруно Вилле и Вильгельм Пельше. Характерно для этих мелкобуржуазных, индивидуалистически-анархистских, антиавторитарно настроенных интеллигентов, что в программе «Свободной народной сцены» господствующее место занимали такие драмы Ибсена, как «Столпы общества» и «Враг народа», которые как нельзя лучше выражали идеологию этих групп с их вознесением личности над массами, презрением к «стадному» «партийному человеку», организованному в строго централизованной рабочей партии. И не случайно, что почти все лидеры анархо-индивидуалистического, путанного бунта в так называемой оппозиции «молодых» 1890—1892 гг. против партийного руководства были представителями этих писательских групп, сплотившихся вокруг «Свободной народной сцены» (Б. Вилле, К. Вильдерберг, Т. Тейстлер, Г. Ландауэр и др.).

К этим «ранним натуралистам» принадлежали тогда еще молодые Бар и Эрнст. Первый только в 1890 г. переехал из Парижа в Берлин и познакомил немецких натуралистов с «последней модой» на берегах Сены — с французскими салонами импрессионистов; его натуралистические драмы «Новые люди» и «Великий грех», прошедшие ранее почти незамеченными, стали теперь пользоваться громадной известностью; молодой 27-летний, австро-немецкий писатель быстро сделал в Берлине карьеру и вместе с Брамом стал соредактором журнала «Свободная сцена» («Freie Bühne»). В то время Бар «кокетничал» с марксизмом, и так как в эти дни переводились старые и каждая новая драма Ибсена и социальные проблемы, выдвинутые великим норвежским драматургом, возбуждали живейшие споры, то неудивительно, что завязалась полемика между Баром, представителем идеологии «Свободной сцены», и П. Эрнстом, бывшим тогда уже довольно известным с.-д. публицистом и чуть ли не официальным интерпретатором Ибсена на страницах главного теоретико-марксистского органа партии «Neue Zeit».

Пауль Эрнст в своих литературно-критических статьях и рецензиях под-

ходил к анализу творчества, в частности творчества Ибсена, типично механистически. Во-первых, он выводил литературу непосредственно из экономики, несмотря на то, что сам метал гром и молнии против других, грешивших этим, критиков: он ставит знак равенства между социально-экономическим развитием «эпохи» и «идеями времени». Дальше он совершенно механистически понимает взаимоотношения писателя и класса: писатель органически не в состоянии выйти за пределы своей классовой идеологии, он фаталистически возвращается только в круг своих классовых представлений. Так и Ибсен не может выйти за границы идеологии чрезвычайно шаблонно понятой Эрнстом социальной категории «мещанства». «Диалектика мещанина, — пишет он в одной рецензии об Ибсене, — это котенок, кусавший свой собственный хвост: хвост принадлежит котенку, котенок — хвосту» (см. «Neue Zeit» 1890 г., стр. 43). Эрнст совершенно не исторически и отвлеченно подходил к пониманию «мещанства»: у него было свое представление о немецком мещанстве 1890 г., и этот на веки-веков выработанный взгляд он приложил упрощенно, как готовый шаблон, к критике скандинавского, русского и французского мещанства и его писателей, о творчестве которых он помещал рецензии в ««Neue Zeit»» и в заграничном центральном органе партии — «Социал-демократе».

Непосредственным поводом к полемике между Эрнстом и Баром послужили статьи Л. Маргольм в журнале «Свободная сцена» «Женщины в скандинавской литературе» (построенные главным образом на материале творчества Ибсена и Стриндберга). Они вызвали большую дискуссию, открывшуюся статьей Пауля Эрнста «Женский и социальный вопрос»¹. Возражая против чрезмерного внимания, уделяемого в статьях Маргольм элементам чисто биологическим, Эрнст правильно подчеркивает социальный характер женского вопроса и рассматривает женское движение (не только в Скандинавии) как продукт общественного развития. Но вместе с тем он подводит всю проблематику скандинавского женского движения и его выражения в литературе под категорию немецкого мещанства и видит разрешение женского вопроса в чисто пассивном развитии производственных отношений. «Нет никакого сомнения, — пишет Эрнст, — что женский вопрос будет решен таким же образом, как все «вопросы» — сам собою, простым развитием производственных отношений». Таким образом Эрнст здесь совершенно отрицает значение идеологической борьбы, в частности в литературе.

Против этой статьи Эрнста с резким ответом «Эпигоны марксизма» выступил Герман Бар². Он считает точку зрения Эрнста «типичнейшим доку-

ментом распада и саморазложения» эпигонов марксизма, превращающих, по его мнению, «критический метод» Маркса в «догматическую аксиому». Он сравнивает Эрнста с автоматом, который, если в него опустить гривенник, сразу же выбрасывает «непогрешимую, длинную главу марксистской мудрости». Методу исследования таких «марксистистов» (так Бар называет Эрнста и компанию, в отличие от «настоящих марксистов», к которым он однако себя не причисляет) он противопоставляет метод якобы самого Маркса. «Я сейчас не помню, — пишет Бар, — писал ли Маркс что-нибудь о женском вопросе, но я себе ясно представляю его подход к этому вопросу». По мнению Бара, Маркс установил бы признаки, характерные для каждой женщины, и из сравнения этих признаков вывел бы типичное для всех женщин; он установил бы среду, в которой мог и должен бы был развиваться такой тип, а не иной, и в конце концов нашел бы при помощи своего материалистического метода «созидающие причины» в экономической почве, вскрыл бы «вечную связь между материальным базисом и идеологическим отражением». Таким образом Маркс «уловил бы» в крупной бургерше, мещанке и работнице «ту женщину», из которой экономика оформила эти три различные типа. И дальше Бар пишет: «Для Маркса, как и для Тэна и Золя, человек — кусок мяса. Этот кусок мяса имеет свое выражение — дух. Этот дух подвергается влияниям среды, формирующим и наполняющим его. Таким образом каждый человек, взятый в отдельности, представляет собою естественного человека, как он вышел из утробы матери, унаследовав свойства своих физических предков, плюс человека экономического, как он оформился в своих отношениях к природе. Экономический человек всегда оформляет естественного человека». Такова, по мнению Бара, точка зрения Маркса, между тем как эпигоны марксизма отрицают «естественного человека» и признают только «экономического». Сам Бар не согласен ни с «точкой зрения Маркса», им самим сконструированной, ни с «эпигонами». Он считает, что кроме «влияния среды» (экономики) и «наследственности от предков» в каждой женщине следует различать еще «третью женщину» — чистую самку. Эта «третья женщина и есть, по мнению Бара, подлинная женщина, «женщина, как таковая»; она не подвержена ни экономическим, ни историческим влияниям, и «отсюда только начинается женский вопрос, эта ужасная и убийственная загадка»... Поэтому Бар требует, чтобы при «анализе женщины» всегда проводилась четкая грань между «естественными инстинктами» и «исторически сложившимся» свойствами; только при условии вычитания

последних можно обнаружить «женщину, как таковую». Вывод Бара: женский вопрос останется «вечной. проблемой между мужчиной и женщиной», ибо они «никогда не поймут друг друга, а будут вечно бороться».

Статья Бара появилась в «Свободной сцене» 28 мая 1890 г. И тогда Эрнст обратился к Энгельсу со следующим письмом от 31 мая 1890 г.:

«Милостивый государь.

Простите мне, совершенно вам незнакомому человеку, что я отваживаюсь обеспокоить вас просьбой.

При этом я беру на себя смелость переслать вам два номера журнала «Свободная сцена». В одном из них помещена моя статья о скандинавском женском движении, а в другом — полемика Германа Бара против этой статьи. Бар упрекает меня в том, что в данном случае я неправильно применил марксистский метод, и во многом другом.

По многим причинам мне хотелось бы знать, правилен ли упрек Бара и думал ли Маркс иначе о женском движении, или, точнее, как он думал бы в данном случае. Во-первых, потому, что я защищаю свои взгляды и в других органах (напр. в «Социал-демократе») и подобные вещи, если они неверны, оказывают вредное влияние: во-вторых, потому, что Бар, как вы увидите из статьи, обращается со мною с невероятным бесстыдством.

По-моему, Бар вообще понимает все совершенно неверно и делает из женского вопроса половой вопрос. Если помещенный в конце статьи многословный тезис правилен, то он, думаю я, выражает нечто существовавшее еще во времена Адама и Евы. Я считаю это безусловно только личным опытом автора. Во всяком случае это не имеет никакого отношения к женскому вопросу, который возник лишь при определенных общественных условиях. Я вовсе не отличаюсь высокомерием, которое старается приписывать мне Бар: я хочу только действовать практически по мере сил моих. Тем более оскорбительны подобные инсинуации.

Вы бы меня крайне обязали, если бы были настолько любезны и исполнили мою просьбу, сообщив мне в двух строках, совпадают ли мои взгляды с взглядами Маркса, или нет. И, кроме того, разрешили бы мне использовать ваше письмо против Бара.

С глубочайшим уважением преданный вам

Пауль Эрнст».

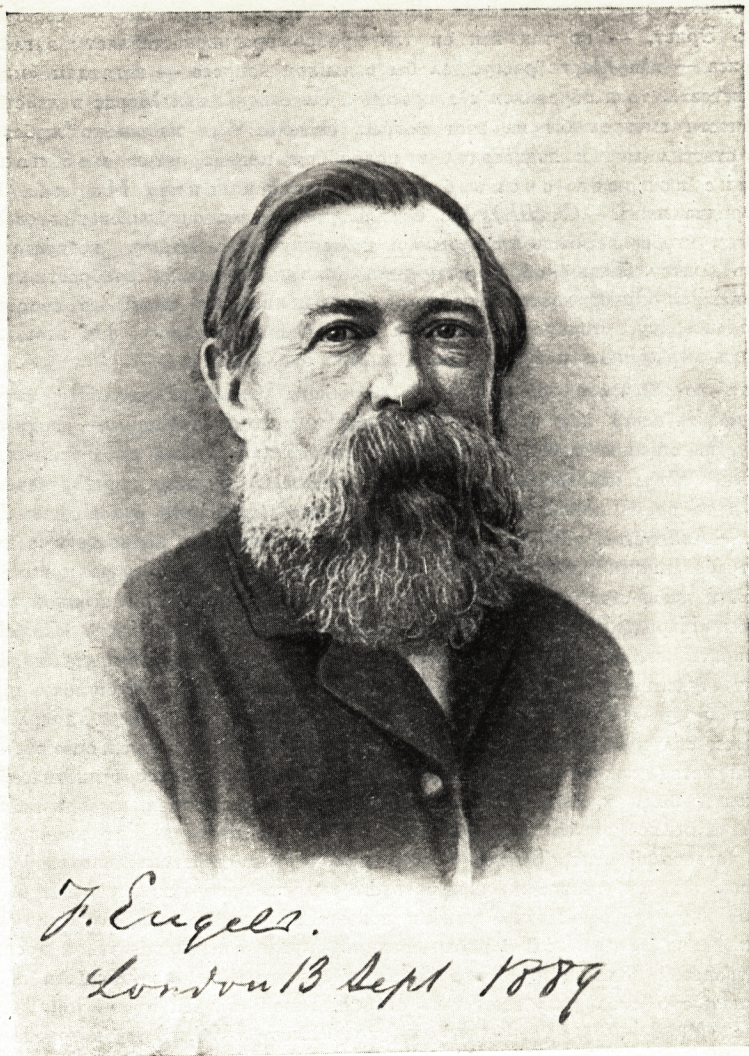
На этот запрос последовал вышеприведенный ответ Энгельса; в нем Энгельс указывает на две основных методологических ошибки Эрнста: 1) механистичность его метода и 2) его неисто-

ричность, отвлеченно-шаблонный, вульгарный подход к исследованию классовой детерминированности творчества такого писателя, как Ибсен.

Ошибка Эрнста по первому пункту Энгельс формулирует следующим образом: «Что касается вашей попытки проанализировать вопрос материалистически, то прежде всего я должен сказать, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают исторические факты. И если г. Бар полагает, что он поймал вас на месте преступления, то мне кажется, что у него есть на это кое-какие основания». При этом определении метода Эрнста Энгельс конечно имел в виду, — как он это позднее и подтверждает, — не только присланную ему статью в «Свободной сцене». Энгельс, следивший регулярно за «Социал-демократом» и «Neue Zeit», сам сотрудничавший в этих органах, был знаком с литературно-критическими статьями Эрнста и сделал этот вывод из всей совокупности известных тогда работ своего адресата.

А по второму пункту Энгельс противопоставляет неисторическому, механистически-шаблонному и вульгарному перенесению представления Эрнста о немецком мещанстве на скандинавское, т. е. на социальные корни творчества Ибсена, глубокий исторический анализ специфических особенностей, отличавших тогдашнее норвежское «мещанство» от немецкого, или от той социальной категории, которая в Германии называлась тогда мещанством. Этот анализ Энгельса является классическим примером того, как марксист должен подходить к такому сложному явлению в литературе, каким было творчество Ибсена, как нужно вскрывать специфичности, сложившиеся в определенном социально-экономическом ходе развития определенного класса, в реальном соотношении классовых сил. Этот анализ социальных корней творчества Ибсена уясняет нам многое из того, что так сильно запутано еще и сейчас буржуазными и псевдомарксистскими исследователями. Резюмируя свой анализ, Энгельс пишет: «Каковы бы ни были недостатки ибсеновских драм, в них все же отображен — хотя и маленький, средне-буржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди еще обладают характером, способны к инициативе и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать со своим суждением».

Письмо Энгельса, хотя и написанное только «для личного сведения», Эрнст использовал в своей ответной статье Бару³ следующим образом: «Я



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии (1889 г.),
хранящейся в Музее
Маркса-Энгельса-Ленина

бы ответил на статью г. Бара «Женский вопрос» сразу же, — сообщает здесь Эрнст, — но так как он так храбро противопоставляет взгляды Маркса — как Маркс рассуждал бы в данном вопросе — взглядам «марксистов»... то я обратился с запросом к Энгельсу... как Маркс в действительности смотрел бы на этот вопрос. Энгельс был настолько любезен, что ответил мне и подтвердил в подробном письме, что мое понимание вопроса очень близко к пониманию Маркса (!) (разрядка наша. — Ф. Ш.). Но Энгельс не желает опубликования своего письма, чтобы не быть втянутым в полемику с г. Баром, которого он очень боится. Таким образом, я один должен набраться храбрости...» В дальнейшем Эрнст настаивает на своем понимании «женского вопроса» и характеризует точку зрения Бара как «половой вопрос». На этом полемике между ним и Баром повидимому закончилась.

Как же реагировал однако Эрнст на общие указания, сделанные ему в письме Энгельса как члену партии, как молодому публицисту, подававшему, по мнению многих, большие надежды? Реагировал он очень своеобразно: когда некоторое время спустя выступила открыто существовавшая уже в то время оппозиция «молодых» против партийного руководства Бебеля — Либкнехта, то Эрнст, хотя и не солидаризируясь полностью со всеми требованиями ультралевых лидеров этой оппозиции, все же примкнул к ней и даже стал редактором берлинской оппозиционно настроенной с.-д. газеты «Народная трибуна». И вот, когда Энгельс в лондонском «Социал-демократе» квалифицировал выступления лидеров оппозиции «молодых» как «бунт студентов и литераторов», Эрнст снова повторил свою ошибку, применив к оценке политической ситуации и соотношения классовых сил в стране такой же механистический и неисторический метод, как это им делалось в литературе: правооппортунистические элементы были провозглашены большинством партии, выродившейся якобы в мелкобуржуазную парламентскую партию от начала до конца. Но если тогдашний центр Бебеля — Либкнехта не был действительно свободен от ряда ошибок, то все же называть его сплошь оппортунистическим было неправильным перенесением ошибок правых на всю партию, означало игнорирование реальной борьбы фракций внутри партии под углом зрения «ультралевой» оппозиции. И вот Эрнст в ответ на письмо Энгельса и на его статью о «молодых» выступает с собственной статьей в оппозиционной газете «Magdeburger Volksstimme» (от 16 сент. 1890 г.), в которой он пишет по адресу Энгельса: «И если Энгельс называет сейчас нашу оппо-

зицию «студенческим бунтом», то пусть он, пожалуйста, укажет, где наши взгляды расходятся с его собственными и Маркса...

На этот вызов Эрнста Энгельс выступил со статьей «Ответ Паулю Эрнсту»⁴, где он квалифицирует механистический метод Эрнста как общий метод всей путанной, неустойчивой, анархоиндивидуалистической оппозиции «молодых» вообще и пишет: «Что же касается самого г. Эрнста, то мне незачем ему это повторять. Я говорил ему это еще четыре месяца назад и должен, хочешь, не хочешь, докучать публике этой моей «серьезной»⁵ корреспонденцией». Затем он рассказывает, как Эрнст обратился 31 мая с письмом к нему, приводит важнейшие отрывки из своего ответа 5 июня и продолжает: «Здесь следовательно я, хотя и в вежливой форме, но тем не менее ясно и определенно указал г. Эрнсту, где (он расходится с Марксом и Энгельсом. — *Ф. Ш.*) именно — в им самим присланной мне статье в «Свободный сцене». И когда я ему там растолковывал, что он пользуется марксистским методом, как готовым шаблоном, по которому он выкраивает исторические факты, то это как раз пример того глубокого «непонимания» того же самого метода, в котором я упрекал этих господ (т. е. «молодых». — *Ф. Ш.*). И если я ему доказываю затем на его собственном примере Норвегии, что приложенный им к Норвегии изготовленный по немецкому образцу шаблон мещанства явно противоречит историческим фактам, то этим самым я уже заранее относил на его собственный счет то «грубое незнакомство» с решающими во всяком вопросе историческими фактами, в которых я также обвинял тех господ. Хочется ли г. Эрнсту еще знать «где»? Ну, напр., в статье в «Народной трибуне» об «опасностях марксизма», где он без многих слов присваивает себе странное утверждение метафизика Дюринга, что будто бы у Маркса история совершается совершенно автоматически, без содействия людей (которые ведь ее делают), и что экономические условия (сами — творения рук человеческих) играют этими людьми, как пешками. И если человек (Эрнст. — *Ф. Ш.*) способен смешать марксову теорию с искажением этой теории таким противником, как Дюринг, — пусть ему помогает другой, — я отказываюсь от этого». И указывая еще раз на ошибочность оценки «молодыми» положения внутри партии, Энгельс подчеркивает политическую опасность метода этих «литераторов», особенно «если они не в состоянии смотреть глазами на самые простые вещи и при оценке экономического или политического положения дел не могут беспристрастно взвесить ни относительного значения данных фактов, ни величины участвующих в них сил».

Таким образом мы видим, что критика механистического метода Эрнста в письме Энгельса является критикой целой системы ошибок и не только в литературоведении, но и в политике, не только одного Эрнста, но и целой группы антипартийных оппозиционеров; взгляды этой группы на политику и искусство неразрывно связаны между собой. И как «молодые» — после выхода из партии в 1891 г., — упорно отстаивая свой механистический метод, последовательно пришли к ликвидаторству (часть «молодых» стала архипортунистической правой в с.-д. партии, другая стала анархистами) в области политики, выдвигая лозунг исключительно экономической борьбы, — так и в области искусства они стали ликвидаторами.

Пауль Эрнст также не преодолел своих механистических ошибок: его политическая эволюция 1890—1894 гг. не только не содействовала их изжитию, но, наоборот, привела его также к «ультралевому» ликвидаторскому взгляду на искусство: его партийная позиция этих лет была неустойчивой, его идеология — выражением вечно шатающихся мелкобуржуазно-интеллигентских элементов в с.-д. партии. Он продолжал сотрудничать в с.-д. печати, но к своим ошибкам, указанным ему Энгельсом, он прибавил еще новые, и когда в 1892 г. на страницах «*Neue Zeit*» развернулась дискуссия по вопросам искусства, он хотя и возражал против сто процентно-ликвидаторской теории Г. Ландауэра, но тем не менее склонялся сам к ликвидаторству и «чистому искусству», проповедуя теорию «незаинтересованности» искусства и резкого разграничения его от политики. Известно также, что в 1892 г. он выступил в «*Neue Zeit*» с довольно путанной, по существу такой же механистической криткой «Легенды о Лессинге» Меринга.

Это ликвидаторство в области искусства последовательно вытекало из его ликвидаторства в области политики, свойственного в той или иной форме всем этим неустойчивым, мелкобуржуазным теоретикам оппозиции «молодых». Об этом именно и свидетельствует названная полемика в «*Neue Zeit*». Так Густав Ландауэр, бывший тогда редактором «Социалиста», органа «молодых», пишет в своей статье в «*Neue Zeit*» (озаглавленной «Будущее и искусство») 1890 г.: «Все почему-то ждут нового расцвета искусства, нового гения, подобного Гете; но я не селею этой надежды или, вернее сказать, больше не селею. Я не думаю, что ближайшее будущее будет стоять под знаком искусства, и очень жалел бы, если бы все-таки так случилось. Прежде всего, у нас больше нет времени для искусства. Искусство нуждается в покое; мы нуждаемся в борьбе. Искусство на выс-

шей своей ступени «braucht Abgeklärtheit», мы нуждаемся в брожении. Искусство... опирается на прошлое и спокойно созерцает настоящее; мы преклоняемся перед будущим и стараемся разглядеть его. Искусство должно быть сытым; мы голодны и хотим пробудить чувство голода. Искусство — субъект, оно наблюдает, впитывает в себя: мы живем и действуем, надеемся сделаться достойным объектом искусства позднейших времен; мы хотим быть Ахиллесом; искусство — Гомер. Нужно наконец энергично избавиться от болезненной мании прикладывать к вещам мерку, которая им не подходит; говорить о развитии и законах развития, когда нет ничего, что могло бы развиваться. Искусство и литература — отвлеченности, больше ничего, которые не имеют своего собственного развития... Тот, кто сегодня и в ближайшем будущем заботится о немецкой поэзии, не может считаться истинным потомком наших великих гениев. В наше время Гете был бы, может быть, гениальным государственным деятелем, или же родственником Ницше пророком, — это решить невозможно; а Ленау, по всей вероятности, преодолел бы мировую скорбь и сделался бы горящим страстью социалистическим агитатором».

Итак, литература и искусство только механистическое, спокойное, пассивное отражение развития общественного процесса, находящее наилучшие для своего развития условия во времена спокойствия и равновесия сил, но не в революционные эпохи, но при выступлениях воинствующих молодых классов; поэтому социалистическому движению, рабочему классу в его борьбе за освобождение литература и искусство совершенно не нужны, они вредны, и опять появятся закономерно лишь в социалистическом обществе, когда можно будет безмятежно наблюдать и созерцать прошлое. Ландауэр в этой статье проповедывал ликвидаторство искусства в наиболее последовательной его форме. Но и Эрнст, выступая в «Neue Zeit» 1892 г. против Ландауэра, утверждает, что искусство существует только для того, «чтобы им наслаждались»: «художники должны доставлять нам наслаждение». И если Эрнст раньше, в 1889—1891 гг., признавал еще политическую функцию искусства, то теперь он пишет: «Несомненно, многие художники вышли за пределы этой задачи (т. е. «доставлять нам наслаждение». — Ф. Ш.), и Ибсен например хочет не только доставлять наслаждение тому, кто его выслушивает, но и внушить ему определенные социальные взгляды». А для этой цели, по его мнению, лучше обратиться к какому-нибудь специальному исследованию. Ибсен, дескать, вмешался здесь не в свое дело. Тут у Эрнста уже отчетливо выступает

кантианское понимание искусства, взявшее в скором времени верх в его дальнейшем развитии.

Такое понимание искусства встречается и у других авторов полемических статей в «Neue Zeit» из среды «молодых». Искусство как механистическое «отражение» развития общественного процесса не имеет своих задач и цели, а есть «просто явление» — вот точка зрения этих «ультралевых» ликвидаторов. Таким образом, поясняют они, пролетарское искусство возможно после того, как рабочий класс построит социалистическое общество. Тут «ультралевые» ликвидаторы смыкаются и с правооппортунистическими теоретиками искусства 90-х годов, как вообще и некоторые официальные теоретики тогдашней германской социал-демократии, в частности Каутский, были недалеко от подобной концепции. Позже эти взгляды легли в основу эстетики II Интернационала. В советской литературе их проводил Троцкий, пытавшийся этим задержать развитие пролетарской литературы.

Итак, механистические ошибки, являющиеся следствием всего мировоззрения неустойчивых временных «попутчиков» марксизма 90-х годов, ошибки, от которых Энгельс предостерегал в письме к Эрнсту, — именно, что материалистический метод переходит в свою противоположность, если пользоваться им механистически, — привели Эрнста и его сторонников к идеализму. Пауль Эрнст вышел из партии и сделался эстетствующим идеалистом, основателем и главой так называемой неоклассической школы писателей и известным драматургом. А после войны он сделался попутчиком «умеренного» фашизма группы Гугенберга, написал книгу о «крахе» немецкого идеализма, а также и марксизма, в своей же последней вещи (1930 г.) проповедует возврат к богу. Его оппонент в 1890 г., австрийский импрессионистский эстетствующий писатель Бар, прошедший все ступени развития буржуазной декадентской литературы от натурализма через символизм к экспрессионизму, также пришел к мистицизму и национализму. И если Эрнст говорит, что он еще и сейчас мог бы сдать марксистский минимум, — до того якобы он хорошо овладел в годы своей грешной молодости методом исторического материализма, — то это лишь подтверждает ту оценку, которую дал ему в письме Энгельс, говоривший, что Эрнст считает марксизм шаблоном, механистическим толкованием социального процесса. Куда ведет в конечном итоге такое понимание марксизма — об этом как нельзя лучше говорит эволюция самого Эрнста.

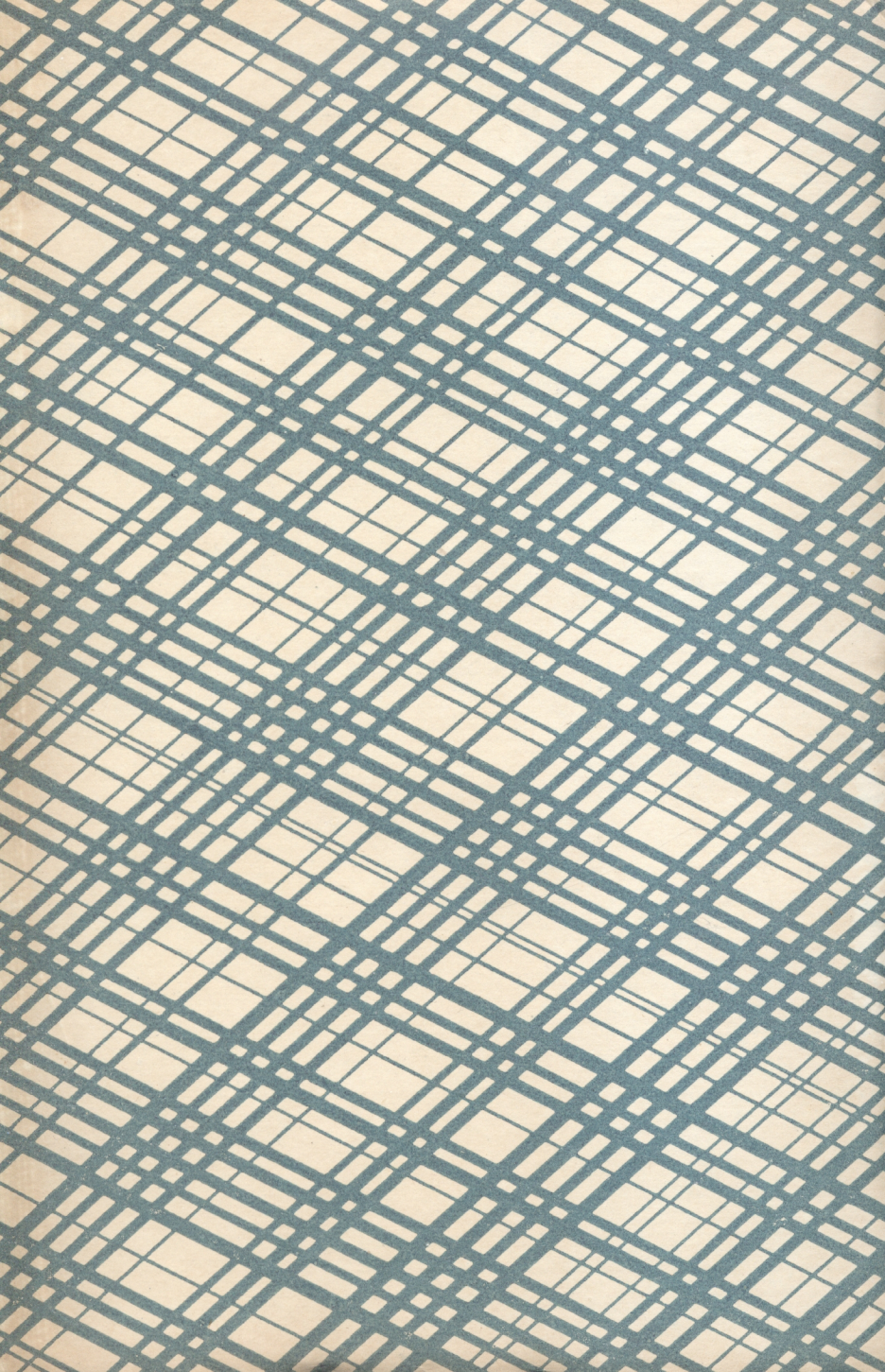
Ф. Шиллер

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
От редакции	1
МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ «ФРАНЦ ФОН ЗИКИНГЕН»	3
Переписка Маркса и Энгельса с Лассалем: I. Лассаль—Марксу 6 марта 1859 г. II. Лассаль—Энгельсу 21 марта 1859 г. III. Маркс—Лассалю 19 апреля 1859 г. IV. Энгельс—Лассалю 18 мая 1859 г. V. Лассаль—Марксу и Энгельсу 27 мая 1859 г.	
Предисловие редакции «Литературного Наследства». Статья Г. Лукача «Маркс и Энгельс в полемике с Лассалем по поводу «Зикингена»	
ЭНГЕЛЬС О ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ	125
Письмо Энгельса к Минне Каутской от 26 ноября 1885 г.	
Предисловие Института Маркса-Энгельса-Ленина. Статья Ф. Шиллера «Энгельс о тенденциозности и других вопросах марксистского литературоведения»	
ЭНГЕЛЬС О БАЛЬЗАКЕ	161
Письмо Энгельса к Маргарэт Гаркнес от начала апреля 1888 г.	
Предисловие Института Маркса-Энгельса-Ленина. Статья Ф. Шиллера «Маркс и Энгельс о реализме в литературе»	
ЭНГЕЛЬС ПРОТИВ МЕХАНИЦИЗМА И ВУЛЬГАРИЗАЦИИ МАРКСИЗМА В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ	185
Письмо Энгельса к Паулю Эрнсту от 5 июня 1890 г.	
Предисловие Института Маркса-Энгельса-Ленина. Статья Ф. Шиллера «Энгельс и механистическое литературоведение»	

З. Т. 1069. Бумага $82 \times 110^{1/32}$
Сдано в набор 29/VIII 1932 г.
Подписано к печати 28/I 1933 г.
Уполномоч. Главлита В—48212.
Изд. № 1615. Тираж 5 000.

Отпечатано в 7-й типографии
«Искра революции» Мособлно-
лиграфа. Москва, Арбат, Фи-
липповский пер., 13.



**Ближайшие выпуски
Библиотеки
«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»:**

БАЛЬЗАК В РОССИИ

**РУССКИЕ ДРУЗЬЯ
ПРОСПЕРА МЕРИМЕ**

**ЗОЛЯ
И ЕГО РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

Цена 3 р. 50 коп.
Переплет 50 коп.